

ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО № 38 СЕНТЯБРЬ 1987
«ПРАВДА», МОСКВА

НОВОЕ
ОБ АННЕ
АХМАТОВОЙ



РАССКАЗ
РЕЯ БРЭДБЕРИ

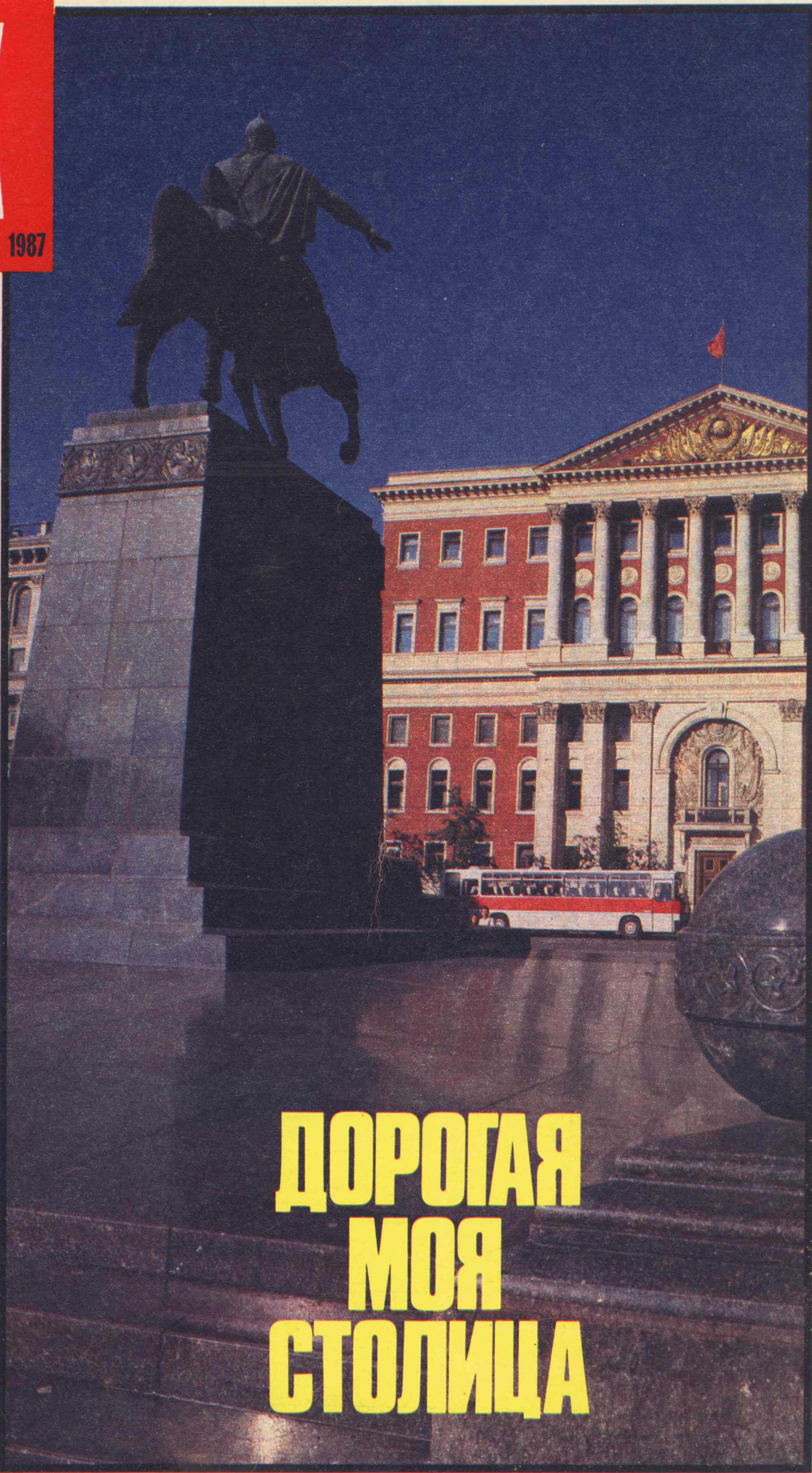
ЖИВОПИСЬ
АКОПА
АКОПЯНА



УПАЛА ЗВЕЗДА
ПОЛЫНЬ...



ТЕАТР
ВНЕ
СТАНДАРТОВ



ДОРОГАЯ
МОЯ
СТОЛИЦА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ОГОНЕК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан **№ 38 (3139)**
1 апреля

1923 года 19—26 СЕНТЯБРЯ

© Издательство «Правда», «Огонек», 1987.

Главный редактор — В. А. КОРОТИЧ.

Редакционная коллегия:

Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ,
Д. В. БИРЮКОВ,
Л. Н. ГУЩИН
(первый заместитель
главного редактора),

К. А. ЕЛЮТИН,
В. П. ЕНИШЕРЛОВ,
Н. А. ЗЛОБИН,
Д. К. ИВАНОВ
(ответственный
секретарь),

А. Ю. КОМАРОВ,
Ю. В. МИХАЛЬЦЕВ,
В. Д. НИКОЛАЕВ
(заместитель
главного редактора),

Ю. В. НИКУЛИН,
А. Г. ПАНЧЕНКО,
А. Б. СТУКОВ,
С. Н. ФЕДОРОВ,
Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО.

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Москва. Советская площадь.

[См. в номере материал
«Красный угол столицы».]

Фото Сергея Иванова

Оформление В. В. ВАНТРУСОВА
при участии О. И. КОЗАК

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ
СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИС-
НОГО МЕСЯЦА.

Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на
полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб.
19 коп.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27;
Отделы: Публицистики — 212-21-88; Коммуни-
стического воспитания — 251-89-83; Междуна-
родный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69;
Искусства — 212-15-39; Писем и массовой ра-
боты — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Оформле-
ния — 212-15-77; Литературных приложений —
212-22-13.

Рукописи объемом более двух авторских ли-
стов не рассматриваются.

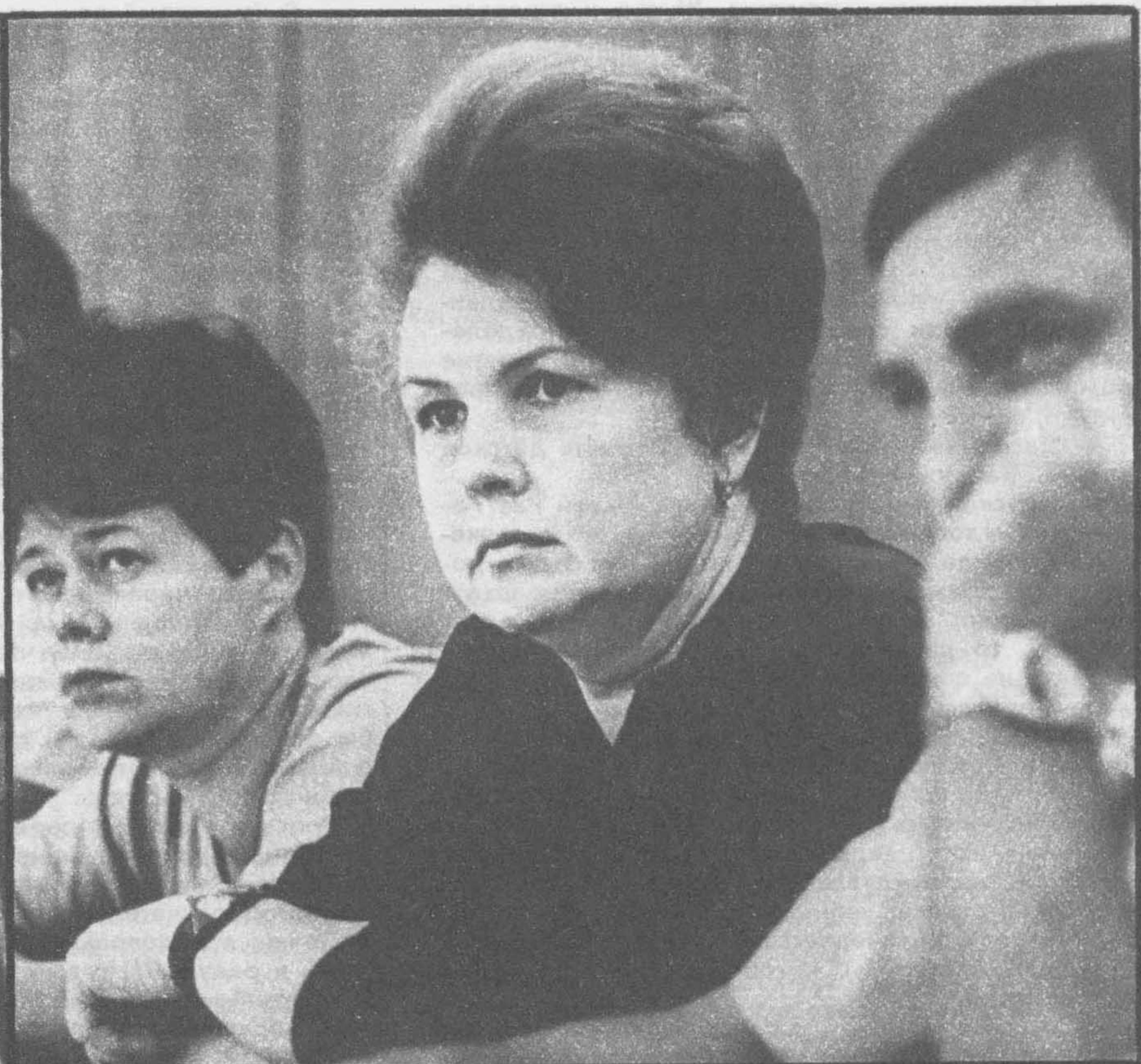
Сдано в набор 28.08.87. Подписано к печати
15.09.87. А 00428. Формат 70×108¹/₈. Глубокая
печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55.
Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 500 000 экз. Изд.
№ 2664. Заказ № 1043.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Револю-
ции типография имени В. И. Ленина издатель-
ства ЦК КПСС «Правда» 125865, ГСП, Москва,
А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП,
Москва, Бумажный проезд, 14.

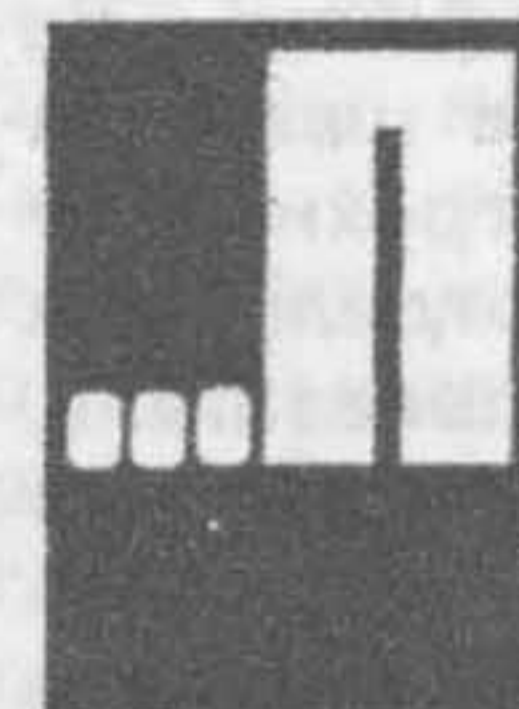
ДЕЛО ДЕЛАТЬ
В ОТВЕДЕННЫЙ ДЕЛУ СРОК.
ТАКОВ СТИЛЬ КОЛЛЕКТИВА
НОВОЧЕРКАССКОЙ
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ
И ЕЕ ДИРЕКТОРА
Р. Г. РОЩИНСКОЙ.

ДИРЕКТОРС



ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ДЕЛОМ

**Константин КОСТИН,
Сергей ПЕТРУХИН (фото),
специальные корреспонденты
«Огонька»**



Омошник принесла ворох писем, петиции и предписания, уведомления от заказчиков и поставщиков и регламентации — от начальников всех рангов. Рощинская начерно, одним взглядом просмотрела почту, не заметила в ней того, чем непременно надо заняться тотчас, отодвинула папку на край стола. На почту ежедневно уходит не менее двух часов, и она выкраивает их из вечернего, когда рабочий день уже закончился, времени. Опыт убедил директора, что основные заботы дает не эта переписка, а жизнью поставленные проблемы.

Их сейчас три. На Новочеркасской швейной фабрике шьют изысканные платья и простенькие халаты, детские костюмчики, прочую швейную надобность, без которой магазинные полки были бы пусты. Выполняют план, ищут новые модели, спорят с поставщиками жухлых, как затяжной осенний день, тканей и никудышной фурнитуры. И в ту же пору, не останавливая конвейера, уплотнив его донельзя, передвигая едва ли не каждый день станки и машины, перенося тюки тканей, готовятся к коренному переоснащению — с первого этажа до верхнего. Каждый уголок обновится, переделан будет набело и — с перспективой. В дороге, на подступах ближних и дальних, находится сейчас новейшее, закупленное у большой западной фирмы оборудование. Строгий и четкий проектант уже подготовил документацию. Строители ломают стены и перегородки, аккуратно работают с несущими балками, чтобы в суматохе переделок не наломать дров — стены-то остаются. Отыскали пустующую постройку, пытаются заполучить ее под временный склад — надо свозить прежнее оборудование, не под дождь же его.

И Рощинская свой день начинает с этих трех дел: реконструкция, план плюс социальные воп-

● Раиса Георгиевна Рощинская.

● На прием к директору, депутату Верховного Совета СССР.

росы. План и реконструкция. Жилье и столовая. Столовая в общем-то не плоха; с жильем маются. Очередь — около ста заявлений. Профком, партком, администрация — общей тягой наваливаются, а движение едва заметное. И деньги-то есть, а...

«Душа болит», — обронила Рощинская.

Раиса Георгиевна начинала не с директорского этажа. Почти тридцать лет прошло, а помнит, как обрадовалась, когда ей сказали, что принята в техническое училище швейников, в «ремесленное», тогда так говорили. Ушло это определение из жизни, и стало забываться само понятие ремесла — как чего-то совершенного, мастеровитого, осязаемого.

— Дали мне по окончании учебы шить детское пальто. Как уж его холила...

Мастерская, в которой работала швеей Рая Рощинская — тогда еще не Рощинская, до замужества это было, — находилась на первом этаже дома, в котором располагалась и дирекция швейной фабрики. То ли заметили старательную мастерицу, то ли еще почему, но предложили ей перейти на фабрику — очень лестное по тем временам приглашение.

— Станки, машины, народу много; это не стежки метать. С радостью согласилась.

...Тут идет привычная для многих биография. Работала, училась. В трудовой книжке вслед за записью «мастер верхней одежды Новочеркасской фабрики индивидуального пошива» появилась еще одна строка: «контролер отдела технического контроля Новочеркасской швейной фабрики». Есть еще мастерицы, которые знали Рощинскую в этой роли.

— Придирчивая? Совестливая. Покажет искривленную строчку: «Как же, говорит, так можно?» Стыдно становится.

Уже тогда проявился в Рощинской максимализм: все делать с полной отдачей, так, чтобы сама довольна была. И когда стала мастером смеяны, могла работу цеха оценивать уже с двух позиций: вчерашней, специалиста по качеству, и с сегодняшней — производственника, торопящегося выполнить план. Но и прежде, как и сейчас, впереди у нее не «побольше», а «получше».

Так и шла по ступенькам, с должностью на должность, с этажа на этаж, но, в сущности, при одном деле. Была диспетчером, а это такая горячая точка, что подумать о чем-то стороннем некогда; была начальником производственного отдела.

— Что вы там записываете? — интересуется у меня Рощинская. — «Трудовую биографию»? Да не биография, судьба. Вся моя жизнь в швейном деле, и хорошее в нем — мое, и за огрехи несу ответственность... Производственный отдел? Как уж меня им пугали. Есть там такой показатель, «агрегатный расчет», вроде бы его понять никто не может, и совладать с ним никак, представьте, невозможно. Взяла я домой бумаги, заварила вечером чай покрепче, к утру почувствовала: приходит понимание. Днем некоторые догадки проверила на практике, а с вечера снова за книги и методики.

— Освоила. — Рощинская смеется хорошо, открыто. И без перехода: «Считаю, убеждена, все можно сделать, если от трудностей не прятаться. Объективные причины? Когда вопрос замыкается в фабричных стенах, нет неразрешимого. Может, не сейчас, не сию минуту, но сделать можно».

Вздыхает: «С поставщиками труднее».

Раиса Георгиевна не напориста, даже мягка, убеждает и дожимает не авторитетом, а доказательством и логикой, расчетом и основательностью. Случилось так, она задалась мыслями на заседании райкома партии, где обсуждался (и осуждался?) начальник одного из управлений городского хозяйства. Он подал заявление: просил освободить от должности, перевести на меньшую. Райком партии озабочился: как так, хороший специалист, умный человек и — в кусты? А уходил он вовсе не в кусты... Разговор шел нервный, тяжелый разговор. Стороны словно не слышали друг друга — каждый говорил о своем. Кто-то даже, правда, глухо, полупонимая, бросил: мол, сюда все входят с партбилетами, но не все... Вы в номенклатуре, извольте работать на доверенном вам посту.

Я видел, как переживала все это Рощинская. Она не могла да и не хотела здесь, на заседании, начинать разбирательство; не было к тому возможностей, и не все было ясно. Но видела, чувствовала: не напризначивает человек, что-то не так. Предложила: «Не будем торопиться». И снова не директорским постом давила, не депутатом Верховного Совета СССР авторитетом, не тем, что в составе областного комитета партии, — пыталась подойти к делу житейски, не сверху, от сути того, чем занимается «обвиняемый». А закончилось райкомовское заседание, занялась этим обстоятельством. И сейчас все яснее становится: дело в ростовском областном управлении бытового обслуживания. А для Ростова Новочеркасск — не указ?..

Вели мы неторопливую кабинетную беседу. Записал я в блокнот и то, что прочитал у директорской двери: прием по личным вопросам в течение всего дня... И это не дежурная демократия, а стиль работы директора.

— Я не каждый день на фабрике, чтобы с утра и до вечера. Директорские хлопоты, депутатские обязанности, другие дела нередко отлучают с предприятия. Установишь день и час приема, а на это время что-то назначено, может, и не в городе. Нет уж, пусть рабочие знают, что поговорить со мной можно не «от и до».

И в цехе, приметил, нередко заводила разговор. Хотя особо не побеседуешь — конвейер, он и есть конвейер...

Нам только что показали несколько новых моделей платьев, обратив внимание и на те, что выпускались стали еще в прошлом году. «Хорошо идут, торговля просит».

— Мы не все сами конструируем. Кое-что покупаем на стороне, в домах моделей. Заключили с ними договоры, сотрудничаем обстоятельно, — поясняет меж тем Рощинская. — Недовольны сменяемостью моделей. Отстаем...

Могла бы Раиса Георгиевна об этом не сказать, потому что вчера старший товаровед городского универмага Галина Михайловна Орленко как дважды два доказала мне, что продукция новочеркасских швейников «на голову выше», чем от других поставщиков, и вы, корреспондент, поступили бы правильно, если бы похотатайствовали перед фабрикой, чтобы побольше нам присылали. А то все в другие города.

Просьбу я обещал передать, но что с того: беспомощная дирекция, ничего не может и отдел сбита. К кому прикрепят, тому и пошлют.

Много получателей у Новочеркасской швейной фабрики, а недовольных среди них не отмечено. Живи и радуйся? Но выбраны все эти торги, опыты и магазины не самой фабрикой, они ей предписаны. Сверху. Откуда, как известно, видно все. Но с большой панорамной высоты и перспективы иногда ускользают некие нюансы. Самое основное, чего никак не могут разглядеть верхние этажи швейной власти, такое понятие, как «хозяйственная самостоятельность». Лишены швейники права выбора поставщиков, гонят к ним подчас такие ткани, что шить бы из них только маскхалаты или что-то подобное.

Но раздаётся командный голос (теперь нередко не бумажный, а телефонный; устное распоряжение к делу не пришьешь, потом ходи, доказывай): «Берите!» И не сразу разберешь: откуда скомандовали, много ведь начальников у фабрики. Я начал было считать: областное управление, главк «Росшвейпром», республиканское министерство. А есть еще Минлегпром СССР! Верховный жрец в отраслевом разрезе. Но есть разрезы и другие: райком и горком партии неподалеку, разные областные организации...

«Ничего понять не могу», — сокрушалась начальник отдела снабжения и сбыта Нелли Абрамовна Дмитриенко и показывала штучки тканей, которые и распечатывать не хотелось. Исправно шлют такую продукцию шахтинский хлопчатобумажный комбинат, черкасский шелковый комбинат, не балует и ивановское предприятие оптовой торговли Ростекстильторга. Никак, ну никак не войдут в ажур отношения с поставщиками. Две стороны, обреченные на вечный спор? Только до рукопашной дело не доходит. Пока штрафами обходятся. Но не сегодня сказано: из штрафа платье не скроишь. Кто это придумал, а кто разрешил: можно, дескать, отправлять куски разной ширины? Так и пишут: «ситец, ширина 93,5—96,5 см». Три сантиметра сюда, пять туда... И еще всякие штучки случаются: то чужая, потолще нитка пройдет, несколько метров перечеркнет; то покрашено не так, как положено. И стоят у длинного стола контролеры, всё до последнего метра, что приходит на фабрику, перемеривают, просматривают. Шесть человек, шесть окладов, а предприятие на хозрасчете, тут каждый рубль учатся считать.

И растут запасы неходовов. И ищет фабрика тех, кто купил бы неликвиды: и кооперативам обращаются, в магазины для умельцев стучатся, устанавливают контакты с мастерами-индивидуальщиками.

— А уж нитки — хуже не придумаешь, — делится со мной наболевшим швеей Ольга Николаевна Бумаженко... — Десять минут работу, стоп, обрыв... И себя издегаешь, и машину. Морока. Наволчились швей, «купают» нитки в керосине, те становятся чуть эластичней. Так и шьют.

— А вы ненужное не берите, — предложил я. — Пытались, но на другую продукцию фонды не дают. А только королям можно сшить платье из ничего.

Рады не нарадуются, когда приходят контейнеры с Дарницкого шелкового комбината, от московских комбинатов шелковых тканей, с Кренгольмской мануфактуры.

— Была бы наша воля, вошли бы в договор только с ними: вы нам — свои ткани, а мы их чести не уроним, хорошо сошьем.

— Так и сделайте, реформы-то на вашей стороне.

— Сторона — стороной, а маркизет — маркизетом. Вместе они пока не сошлись, где-то рядом пребывают: бумага тут, на этой стороне, а хозяйственная практика — вон она где...

— Нам очень недостает самостоятельности, — в который раз слышу я от Рощинской. — Не показной, не декларативной, на практике.



Яркий пример осуществления решений партии о гласности, социальной справедливости, правдивом показе истории — № 26 «Огонька», сорвавший за весу забвения с имени Федора Федоровича Раскольникова, на котором десятилетиями висело проклятие клеветы.

Считаем, что мы — благодарные потомки — должны подкрепить свою личную позицию реальными делами. В данном случае: настоятельно добиваться выполнения решения 25-летней давности о перенесении праха Ф. Ф. Раскольникова в колыбель советского Военно-Морского Флота — город Кронштадт, где в 1920 году он был командующим Балтийским флотом. И там же, в Кронштадте, воздвигнуть ему памятник — бесстрашный большевик этой чести заслужил.

Уверены, что многие члены нашей партии — ветераны и молодые, моряки и военные, дипломаты и работники советских учреждений за границей, журналисты и литераторы — поддержат это предложение и подкрепят его своими скромными, но сильными денежными взносами на строительство памятника.

Просим редколлегия создать при журнале «Огонек» общественный читательский комитет по увековечению памяти Ф. Ф. Раскольникова.

Члены КПСС К. П. ЧУДИНОВА — с 1914 года,
С. М. ПРИЛУЦКАЯ — с 1919 года,
Л. М. ГУРВИЧ — с 1926 года,
Н. В. БОГДАНОВ — с 1931 года,
М. С. РОЗЕНБЕРГ — с 1931 года.

Социализм предполагает для народа больше свобод, чем это возможно в буржуазном обществе. Этим он и притягателен. Кому нужен социализм, если он похож на казарму, где разгуливают сплошь важные начальники, свысока покрикивающие на беззастенчивых подчиненных? Разве в такой обстановке состоится развитие духовных и интеллектуальных сил народа? И разве такой социализм замыслили великие Маркс, Энгельс, Ленин? Вот сегодня мы все говорим о перестройке, о революционных процессах, происходящих в стране. А ведь перестройка — это не что иное, как возвращение на ленинский путь развития, возвращение к СОЦИАЛИЗМУ.

Любая диктатура личности несовместима с самим духом того общества, которое мы собираемся построить. Это отлично понимали декабристы, считавшие, что царь виновен перед народом уже тем, что он, а не общество единолично решает судьбу подданных, — это и есть беззаконие и произвол.

Великий Герцен высказал прекрасную мысль, что нельзя освободить людей больше того, насколько они свободны сами. Чтобы строить новое общество — гуманное, справедливое, свободное для всех лучших человеческих порывов, нам прежде всего надо убить в себе раба. Без этого у нас ничего не получится, мы все время будем дожидаться какого-нибудь «железного дядю», который все нам «разобъяснит», даст установку, прикажет, наконец, освободит нас от тяжелого труда думать самостоятельно и самостоятельно принимать ответственные решения.

Что бы ни строила страна, но если она не построит социалистические отношения между людьми, она не приблизится к социализму, как не приближаются к нему ни Америка, ни Япония, несмотря на все их экономические чудеса.

К. Ф. ШАТРОВ
Ленинград.

Прочитала в № 27 письмо Н. И. Волковой «Почему надо стыдиться многодетности?». И не могла остаться в стороне. Этой молодой женщине 25 лет, а она уже имеет семерых детей, да еще, по ее словам, это не предел. Вышла она замуж в 16 лет. Значит, девичьих лет у нее не было. А потом пошла один за другим каждый год дети. Я хочу спросить, уважаемая Нина Ивановна, что же вы видели за девять лет замужества? По-моему, вот что: вечно перед носом торчащий большой живот, бессонные ночи, постоянное стояние у плиты. И неужели это не надоело? Без выходных, каждый день одно и то же. В этом круговороте Вы видите свое счастье? Глупо. Никуда не поехать, не пой-

БЕССТРАШНЫЙ БОЛЬШЕВИК ЗАСЛУЖИВАЕТ ПАМЯТНИКА СКОЛЬКО НУЖНО ИМЕТЬ ДЕТЕЙ МЫ — ГЛАЗАМИ КАНАДЦЕВ

ти (куда с такой оравой), а жизнь-то ведь дается только один раз.

И потом большое значение имеет материальная обеспеченность. Это хорошо, что Вы, Нина Ивановна, живете в сельской местности, имеете какое-то свое личное хозяйство, а что же делать большой многодетной семье, проживающей в городе? Где, кроме заработка родителей (чаще всего одного отца), ничего нет. И Вы призываете иметь большое количество детей. Для чего — нищету разводить?

По моему твердому убеждению, детей надо иметь двоих, максимум — троих. Одного тоже не надо, эгоист может из него получиться. И самое главное — побольше внимания надо уделять детям, особенно в подростковом возрасте. Не только производить их на свет, но из каждого ребенка сделать ЧЕЛОВЕКА с большой буквы.

Г. С. ИВАНОВА
Душанбе.

Здравствуй, Нина! Думаю, Вы не обидитесь на меня за такое обращение — моей старшей дочери 30 лет. Давайте знакомиться: Фирсова Жанна Исааковна, мне 51 год, 34-ю годовщину семейной жизни отметим в январе. У нас десять детей, четыре зятя, невестка, десять внуков. Работаю агентом Госстраха. Пятеро детей имеют свои семьи и пятеро еще с нами. Старший из нашей пятерки сейчас в армии, другой сын перешел на третий курс ГПТУ в Новосибирске, трое школьников — в шестом, седьмом, восьмом классах. У нас пять девочек и пять мальчиков. В 1976 году мне вручили орден «Мать-героиня». Могу сказать одно: те трудности, когда дети маленькие, несравнимы со сложностями, которые возникают, когда дети вырастут. Маленькие все дома, что есть, то поедят, что есть, то наденут, а вот вырастут, поедут учиться, тут и начинается: 40 — 50 рублей в месяц надо послать каждому, взять домой на каникулы, — а это расходы на авиабилеты, да и одеть нужно. Зарплаты даже на нашем Севере не хватает. Я не жалею, просто анализирую. Своим детям не советую повторять мой «подвиг».

За свою жизнь не встречала плохих детей в многодетных семьях, как правило, они растут трудолюбивыми, честными, дружелюбными. Наши, если их где-то угощали, никогда не ели в одиночку, приходя домой, даже яблоко делили — хоть маленькие кусочками, но на всех. Не знаю, не слышала о такой многодетной семье, где бы вырастали лодыри, наркоманы, пьяницы. И все-таки большой поддержки нам нет. То пособие, которое получает мать при рождении очередного ребенка, в масштабах государства — огромная сумма, а нам, матерям, капля в море. Везде в кассах аэропортов, на железнодорожных вокзалах, в магазинах и гостиницах есть вывески с указанием, кто обслуживается вне очереди, но матери-героини там не обозначены. Хочу сказать: пока не будет существенных льгот для многодетных семей, до тех пор рождаемость в стране не поднимется. Смотрите, что получается: семья с одним-двумя детьми спокойно живет, приобретает автомашину, а там, где детей больше, это недостижимо. Так почему же нельзя большим семьям разрешить продавать автомашину в рассрочку, пусть даже на восемь лет, чтобы удержание было небольшим, но семья будет знать, что количество детей ни в чем ее не ущемит. Хотелось бы иметь скидку на билеты в летнее время, чтобы можно было всем вместе поехать в отпуск.

Когда в праздники, наши торжества да и просто по выходным садимся все — двадцать два человека — за стол, радость за детей своих все горечи перекрывает, и, конечно же, ее не понять тем, у кого один ребенок или двое, да еще со сложной судьбой.

Вам, Нина Ивановна, от всего сердца желаю самого светлого в жизни, самого доброго. Здоровья хорошего, чтобы детей поднять. Как мать и старший друг могу посоветовать: не нужно больше. (Вы пишете, семеро — еще не предел). Никто не ценит, никого наши заботы не трогают, а жизнь становится трудней.

Ж. И. ФИРСОВА
п. Угольный, Якутия.

Мы, группа канадских учителей русского языка, — туристы в СССР и читатели вашего журнала. Вместе с вами радуемся успехам вашей страны и огорчаемся трудностям и ошибкам, но жизнь есть жизнь, вы люди, а не боги, в каждом деле ошибки неизбежны, и это не страшно, если вовремя их исправить.

От всего сердца желаем вашей стране успехов и, как друзья СССР, осмелимся обратить внимание на следующее.

Из многочисленных бесед с обычными выпускниками школ и ПТУ мы с глубоким изумлением и тревогой поняли, что средний канадский выпускник знает советскую и русскую литературу и вообще культурное наследие России лучше, чем ваши учащиеся. У многих низкий общий культурный уровень — отсюда «панки», «металлисты». У всех друзей СССР это вызывает сильную тревогу и беспокойство, ведь молодежь — завтрашний день страны, это важнее любых экономических проблем. Мы желаем вам процветания, а оно невозможно без людей образованных, культурных, обладающих развитым интеллектом.

И еще одно замечание. Мы восхищаемся возможностями туризма в СССР. В будущем он принесет вам большую прибыль без затрат, если вы сократите применение ядов на ваших полях, — иностранные туристы опасаются за свое здоровье. Об этом много пишет печать Запада. Алкоголизм и наркомания поражают часть людей, а продукты с полей, обработанных ядами, потребляют все.

От имени группы русистов
Андрэ ЧЕБОТАРЬ, Мэри АЙЗЕН
Канада.

Предлагаю тему, которую хотелось бы видеть поднятой в «Огоньке». Речь идет о «Революционном некрополе» на Красной площади у Кремлевской стены, за Мавзолеем В. И. Ленина. Не был я там с 1950 года. Но вот случилось несчастье — два инфаркта. После намеков врачей, что конец может наступить неожиданно, решил на всякий случай проститься со всем, что мне дорого, с теми местами, где воевал, рос, учился. Среди этих светлых мест был Мавзолей и кремлевские могилы.

И вот наряду с благоговением и чувством грусти ощутил странную смесь удивления, гнева, возмущения. В общем-то ничего нового, обо всем знал, но когда увидел, прошел рядом... В путеводителе по нашей столице, изданном в этом году «Московским рабочим», говорится, что здесь находятся могилы с надгробными плитами и бюстами ближайших соратников В. И. Ленина, выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства. Но рядом с могилами и бюстами подлинных революционеров Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский и других захоронены люди, которые по мыслям и действиям своим далеки от ленинской плеяды.

В том же справочнике указывается, что в Кремлевской стене замуровано более 100 урн с прахом видных партийных и государственных деятелей, руководителей международного коммунистического движения, ученых, писателей, прославленных военачальников, героев-летчиков... И снова тот же вопрос: почему в Кремлевской стене захоронены иные отнюдь не выдающиеся личности, но не нашлось места, например, для М. М. Громова, А. И. Покрышкина и других героев, прославивших нашу Родину и вошедших в ее историю?

Не пора ли четко, государственным актом установить — что служит основанием для захоронения в некрополе у Кремлевской стены: занимаемая должность или заслуги перед страной? Ведь это, к сожалению, не всегда совпадающие понятия.

Я понимаю всю сложность вопроса и уязвимость позиции: умерших хоронят через несколько дней после смерти, а оценки история дает значительно позже. К тому же перезахоронения не очень приняты и носят в какой-то мере кощунственный оттенок. Но ведь речь идет не о частных лицах и не о деревенском кладбище. Хочу, приведя внуков к Кремлевской стене, о каждом памятнике, о каждой могиле и надписи ответить правду, не веля и ничего не скрывая. Чтобы они ушли с Красной площади просветленными, преклоняясь перед людьми партии, а не с горечью и недоумением. Замечу также, что сегодня условий для расска-

зов и раздумий в некрополе нет. Нельзя подойти близко к большинству могил и к стене. Нельзя положить цветы, нельзя постоять, как на любом другом кладбище. Охрана все время подгоняет: «Проходите, проходите».

Мне могут возразить — дескать, стоит ли воевать с мертвыми, когда впереди столько дел, такая гигантская перестройка? Конечно, тут есть над чем подумать, дело это сложное. И все же думаю, что решать вопрос нужно, ибо это часть перестройки, перестройки духовной сферы.

Л. М. КАВЕРЗИН,
участник Великой Отечественной войны,
полковник милиции в отставке, член КПСС
с 1945 года, заслуженный работник МВД
Москва.

Мне 28 лет, я один из потерянного поколения. Именно потерянного. Все мои сверстники, тем па-че ровесники, все мы такие. И у меня от перестройки и гласности одна горечь. Это нисколько не означает, что я тайный или явный ее противник, отнюдь. Я обеими руками «за». Душа, знаете ли, немножко стала оттаивать. Но я и, сдается мне, все мое поколение — пассивный сторонник новых веяний и дел. Почему? Да потому, что сил не осталось. А на напрашивающийся вопрос, где они, эти силы, отвечаю: ушли на сохранение хоть чего-нибудь святого в душе в годы тотального безверия, апатии, двуличия. У многих моих сверстников сил не хватило даже на это, и они ушли — кто в наркоманию, кто в пьянство, кто в преступный, как говорится, мир. И теперь, когда стали оттаивать наши озябшие души, захлестывает горечь: где все это было раньше, почему лучшие, самые энергичные, насыщенные деятельностью годы нашей жизни практически псу под хвост? Почему мы для реализации, а то и просто для приложения своих сил должны были становиться подхалимами, карьеристами или иметь более-менее весомую протекцию? Вот откуда горечь.

С. БАЕВ
Москва.

Прочитала в № 29 статью «Оставьте нам деревню». То, о чем пишут жители Мельницы Псковской области, — это крик души человека, который родился и вырос в селе. Я сама деревенская девушка, и мне не хочется уезжать из родных мест. Любовь к родным полям, лесам и озерам ничто не может мне заменить. Но вот пишут обитатели Мельницы: «Вышло так, что и сами жители наших деревень любыми правдами и неправдами стремились в город. Искали лучшей жизни». У нас происходит то же самое. Только закончит пареня или девушка восемь классов, как родители тут же выпроваживают в город. А если останется жить и работать в деревне, то тебя считают вроде неполноценным человеком. Почему родители за нас ищут нам легкой и красивой жизни, сами отрывают нас от родных мест? Зачем и кому это нужно? И уезжает молодежь. Остаются старики и старушки.

Руководство колхоза смотрит на это сквозь пальцы и ничего не предпринимает для того, чтобы оставить ребят в родном колхозе. А разве только для молодежи нужны условия? В нашей деревне есть медпункт, а врача нет уже около пяти лет. Если привезут раз в полгода булочки в магазин, это уже считается праздником. Неважно и с топливом. Дрова можно выписать в колхозе, а уголь в порядке очередности привезут, когда зима пройдет. Доярки работают круглый год в резиновых сапогах, а зима шутить не любит, можно и ноги отморозить.

Могла бы и еще говорить о бесхозяйственности в нашем колхозе, только от этого легче не станет. Молодежь не остается, и некому эту бесхозяйственность устранять. Смотришь на все кругом, и сердце кровью обливается. А ведь виновато не только руководство колхоза, но и мы сами. Надо бороться за жизнь своих деревень. Сейчас, и чем раньше, тем лучше. Потом ошибку исправить трудно, особенно на земле. С каждым следующим годом на себе ощущаем неполадки, возникшие много лет назад.

Н. Д. ГУСЕВА,
библиотекарь, 19 лет
Воронежская область.

Наш адрес:
101456, Москва,
Бумажный проезд, 14.



ЛЕД ТРОНУСИ?...

ВСЕ РЕШИЛ ТРЕТИЙ МАТЧ,
ЕГО ВЫИГРАЛИ КАНАДЦЫ —
И ВСЕ РАВНО,
ВЫСТУПЛЕНИЕ НАШЕЙ КОМАНДЫ
ОСТАВИЛО
НЕПЛОХОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
ХОТЯ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ
СЫГРАЛИ
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ.
БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ,
ЧТО ЭТО ПРИМЕТА
ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН
В НАШЕМ
ХОККЕЙНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В ЦЕЛОМ...



СТАДИОН

Владимир ДВОРЦОВ

Ошибиться не зазорно, никто, к сожалению, от этого не застрахован. Беда, однако, если упорно не хотят сознаться в ошибках и раз за разом их повторяют. А именно так немало лет поступали руководители нашего хоккея. Из-за систематического игнорирования интересов популярной спортивной игры у нас снизился класс многих клубов, резко упала посещаемость матчей чемпионата страны.

Да и как могло быть иначе, если всесоюзным первенствам выделяются в сезоне крайне малые сроки. Кубок СССР не разыгрывался семь лет, а когда прошлой осенью эти в свое время любимые болельщиками соревнования возобновились, их прервали, и финал до сих пор не сыгран. Идет беззастенчивое перетаскивание игроков и концентрация их в одном-двух столичных клубах. В последние три сезона сборная СССР дважды из-за одних и тех же ошибок в стратегии и подборе игроков проиграла чемпионаты мира, а несколько ранее даже

не пробилась в финал розыгрыша «Кубка Канады-84».

И вот начался новый сезон большого хоккея. На дворе лишь первый осенний месяц, а уже сыграно много матчей и турниров.

И не всегда наши клубы держали высокую марку: ленинградские армейцы остались третьими в розыгрыше «Кубка Татр», а горьковчане в финале турнира «Золотой колос» уступили «Мотору» (ЧССР) — 1:5, рижане проиграли в Финляндии «Эссету» — 1:3. И, наконец, один из важнейших турниров — «Кубок Канады-87». Естественно, десятки миллионов болельщиков с волнением ожидали того, как будут разворачиваться события. Неужели снова?..

Поначалу казалось, что именно так и будет. После неудачи в Вене в первых числах мая хоккеисты сборной СССР возвратились в Москву. В аэропорту Шереметьево-2 им объявили: «Побудете дома на празднике Победы, и отправляемся на тренировочный сбор в Сочи».

Игроки зароптали: «С прошлой осени дома почти не бывали, и вот снова разлука». Запомнилось, как возмущалась супруга одного из лучших наших форвардов. Со слезами на глазах она требовала от мужа: «Пиши заявление, не будешь больше в хоккей играть, хватит — о семье подумай, дети тебя уже совсем позабыли!» (Когда иные рассуждают о суперзаработках наших хоккеистов, пусть не забывают и об этой стороне жизни «звезд» спорта.) В июне у хоккеистов был отпуск. А в июле приступили к подготовке к новому сезону с места в карьер. Уже 20 июля три десятка кандидатов в сборную снова забрали в Новогорск на сбор.

Костяк команды тренеры сохранили, но появилось и немало новичков. Да и в руководстве произошли пере-

мены. Образовалось Управление футбола и хоккея, которое возглавил В. Колосков. В Вене наставниками сборной СССР были В. Тихонов, В. Юрзинов — дуэт, сложившийся еще с 1977 года, и И. Дмитриев, представленный здесь как старший тренер молодежной сборной страны.

Перед сбором в Новогорске на представительном совещании в Госкомспорте СССР было решено ввести в тренерский «триумvirат» Ю. Моисеева, наставника московского «Динамо», второго по представительству игроков в сборной клуба страны. Он должен был заменить В. Юрзинова. Однако два дня спустя это решение было... отменено. У руля сборной остались В. Тихонов и И. Дмитриев, которого освободили от руководства молодежной командой. Кстати, молодежная сборная СССР, которой с 26 декабря по 4 января предстоит выступать на чемпионате мира в Москве, до сих пор не имеет старшего тренера.

Наставник сборной СССР, разумеется, волен сам подбирать себе помощников, но и то, что вторая по числу хоккеистов в сборной страны команда вправе претендовать на представительство среди тренеров, не вызывает сомнений.

Изменился ли В. Тихонов, после второй за короткое время неудачи на чемпионатах мира? Кардинально, конечно, нет. Да это невозможно и не нужно. Но кое в чем — да, что пошло на пользу делу.

Перед стартом прошлых *розыгрышей «Кубка Канады» автор этих строк говорил Виктору Васильевичу: «Шведы в «Юханнесхофе» оборудовали «канадскую площадку» — на 4 метра уже принятых у нас размеров». Это осталось без внимания. Нынче же летом аналогичная информация была принята к сведению. И в Новогорске без особых хлопот тоже сделали узкую ледовую «поляну». Когда 7 августа сборная СССР встретилась в тренировочном матче в Стокгольме с чемпионами мира, занятия дома на узкой площадке, не сомневаюсь, помогли ей победить — 5:2. А затем она еще выиграла и в Эребру на поле стандартных размеров — 7:3.

20 августа сборная СССР улетела за океан. Организаторы «Кубка Канады», чтобы раз в несколько лет собрать на этих состязаниях всех «звезд» мирового хоккея, не скупятся на призы: выделено более миллиона долларов. Участники за свой счет должны лишь доехать на автобусах до аэропортов в собственных столицах, а дальше все расходы — отели, питание, дальние перелеты — несут хозяева. Но деньги они считать умеют и зря долларами не разбрасываются. Из Москвы, Праги, Стокгольма, Хельсинки сборные полетели в Лондон, а уж оттуда дружной командой чартерным хоккейным рейсом «Эйр Канада» в Торонто и далее по городам, где им перед стартом турнира предстояло провести по одному-два, как за океаном говорят, «выставочных» матча с соперниками из Канады и США.

Старший тренер и еще раз вял критике: в сборной появилась целая «пятерка» динамовцев и целиком

«тройка» из «Крыльев Советов». Не отправили домой «чужака» — талантливого молодого Семака, а перевели в запас «своего» — армейца Старикова.

Первый матч провели отлично. Расслабились лишь при счете 7:1. М. Лемье всего за пять минут к ранее заброшенной шайбе добавил еще три.

— Игра была жесткой, — поделился впечатлениями гостренер Ю. Королев, когда я позвонил по телефону в Калгари, — есть травмированные, дальше, чувствуется, будет не жестко, а жестоко, но команда такой хоккеей приняла.

А на что иное можно было рассчитывать, если, по словам канадского авторитета игры С. Янга, взятым как бы эпиграфом в программу «Кубка Канады-87», «хоккей достиг своего исключительного положения потому, что это совершенная комбинация красоты игры, пота и крови».

Забегая вперед, напомним, что в матче с американцами Муллэн вывел из строя Кравчука, а в игре со шведами сломали руку Светлову. В силовой борьбе советским хоккеистам все еще необходимо совершенствоваться. Возможно, отправляя некоторых игроков в клубы НХЛ, как это делают в Швеции, ЧССР, Финляндии, ФРГ. Тем более, что североамериканцы, приглашая «звезд» из Старого Света, много ценного переняли у них в тактике, технике, даже дисциплинированности на льду.

В повторной встрече дали отдых нескольким ведущим игрокам. Проиграли. Было время заделать «пробоины». Однако, как вскоре выяснилось, не до конца: шведам в стартовой встрече Кубка, опять на олимпийском стадионе в Калгари, тоже уступили — 3:5.

Чемпионы мира, финалисты прошлого, третьего розыгрыша «Кубка Канады» целенаправленно готовились к турниру. В начале августа дома они по два раза проиграли и нашей команде, и сборной ЧССР. В середине месяца обыграли в гостях принципиальных соперников — финнов. «После этой победы мы твердо стоим на ногах», — не скрывал тренер «Тре Крунур» Т. Сандлин. После успешного старта в Кубке (вот как точно рассчитали с подготовкой) Т. Сандлин сказал: «Некоторые считали ничью на чемпионате мира в Вене со сборной СССР везением для нас. А я еще и тогда говорил, что повезло не нам, а соперникам».

Проигрыш, естественно, вызвал в нашей сборной тревогу. Отрадно, что были внесены правильные, как показало дальнейшее, коррективы. В матче второго тура, выигранного в Реджайне у сборной ЧССР — 4:0, — ворота с блеском защищал Мыльников, а Белошейкин перешел в запас. На мой взгляд, вратарь из Челябинска и в Вене был в лучшей форме, нежели голкипер армейцев. И, играя уралец в главных матчах чемпионата мира, сборная СССР не осталась бы без «золота».

Белошейкин, безусловно, талантливый вратарь, но пока нестабильный. Он был героем решающего матча советских и канадских хоккеистов на молодежном чемпионате мира в Гамильтоне в январе 1986 года, но он же пропустил в Вене от слабой швейцарской команды пять шайб. Больше никому они столько не забросили. Пожалуй, в интересах сборной и самого Белошейкина отпустить его в любимый Ленинград. Там в СКА ему придется чаще проводить сложные матчи, не имея перед собой такого чиста, как полевые игроки ЦСКА, что поможет ему потом лучше играть и в сборной. В. Тихонов все это понимает лучше других, но желание видеть игрока своего клуба основным вратарем преодолеть не может.

К финишу Мыльников устал (все-таки он не Третьяк и в первом финале сыграл лишь на «хорошо»). Во вто-

ром, решающем матче поставили Белошейкина. К сожалению, он опять пропустил «свои» шесть шайб.

Шведам удалось нейтрализовать звено Ларионова. Такого наши лидеры в дальнейшем никому не позволяли. Лучший бомбардир «Рандеву-87» Каменский в Вене из-за травмы сыграл слабо. Теперь он в форме и опять точен в бросках. Не стали разбивать динамовскую «пятерку», и это пошло на пользу сборной. Опытный Первухин с юным Федотовым надежно сыграли в обороне. С приходом Ломакина, которого заранее пытались характеризовать как «нестойкого в силовой борьбе», усилили игру Светлов и Семенов. В первом матче второе и третье звенья не смогли заменить выключенных из игры лидеров, но потом разыгрались. Весьма кстати пришелся в сборной Семак.

«Несмотря на то, что все больше американцев выступает в НХЛ, — писала нью-йоркская «Ньюсдей» после матча в Хартфорде, — пожалуй, понадобится еще немало времени, прежде чем команда США сможет противостоять сборной СССР».

Кстати, в ходе матча тренер американцев Б. Джонсон попросил судей измерить загиб илюшки у Каменского. Завершилась «процедура» двухминутным штрафом нашего форварда. Хорошо, что это не повлияло на ход встречи. Более того, Крутов в меньшинстве забил гол. Но все-таки доколе же будет продолжаться разгильдяйство? Когда-нибудь оно дорого может обойтись нашим хоккеистам.

Перед последним туром хоккеисты Канады и СССР забронировали себе места в полуфинале. На чемпионатах мира, в розыгрыше «Кубка Канады-84» наши тренеры всегда требовали играть только на выигрыш. Нынче стратегические соображения возобладали. С «кленовыми листьями» разошлись миром, приберегли силы для решающих встреч и получили в полуфинале, думается, самого удобного соперника — шведов. Дело в том, что у сборной ЧССР после победы 4:0 во втором туре снова выиграть было бы непросто.

В то время как скандинавам, напротив, считалось маловероятным снова проиграть. Так оно и получилось. У «Тре Крунур» выиграли — 4:2. На этот раз взять в тиски наше ударное звено соперникам не удалось, голы забили и Макаров, и Ларионов, и Крутов.

Канадцы тоже благополучно минували полуфинал. Преобразившись во втором круге, при счете 0:2 они победили в итоге — 5:3. После того, как сборная Швеции оказалась за бортом, тренеры скандинавов разбушевались на пресс-конференции. Они обвинили хозяев в том, что те заставили их за несколько дней налетать 9000 километров по Северной Америке. Недовольны они были судейством и даже тем, что матчи с участием сборной СССР... собирают много зрителей, а значит, канадцы ради финансового успеха делают все, чтобы играть в финале именно с советскими хоккеистами. Организаторы их тут же «успокоили», заявив, что в пятом розыгрыше «Кубка Канады» в 1992 году обойдутся... двумя североамериканскими сборными и командами СССР и ЧССР.

Когда читатели получат этот номер, будут известны окончательные итоги «Кубка Канады-87». Несмотря на дороговизну билетов, состязания в Монреале и Гамильтоне прошли при переполненных трибунах, болельщики получили огромное удовольствие. Еще бы, в стартовой встрече выиграла сборная СССР — 6:5, когда на шестой минуте добавочного времени Семак забил победный гол, а в повторной встрече шайба М. Лемье тоже в добавочное время, но на одиннадцатой минуте пятого периода принесла с таким же счетом — 6:5 — успех хозяевам.

— Я всегда восхищался умением канадцев усиливать игру на финише турнира, — сказал И. Дмитриев, — и второй матч это подтвердил...

— Фортуна в первой встрече от нас отвернулась, — резюмировал У. Гретцки, — но на вторую встречу вышли полные оптимизма. И выиграли.



ОТКРОВЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ИЗ «АМЕРИКИ»

Мы встречались с ним несколько раз, и я видел, как менялось его настроение. Перед концертом во Дворце спорта «Динамо» он выглядел удрученно: накануне сорвалось два из трех возможных выступлений музыканта, и оба раза по вине негостеприимных администраторов. «А ведь так много хотелось сказать советским людям. Уж не злой ли рок витает надо мной?» — признавался Крис Кристофферсон, американский певец, композитор, актер, гость семинара деятелей литературы и искусства, представителей средств массовой информации «Новое видение друг друга». Организованный Советским комитетом защиты мира и американской общественной организацией «Центр за советско-американский диалог», форум в Москве ставил своей целью выяснить, что могут сделать деятели культуры СССР и США для возникновения атмосферы доверия, взаимопонимания между народами своих стран. Доколе над нами будут довлеть устаревшие стереотипы и представления друг о друге? Как отказать от засевшего в сознании «образа врага» и перейти к «образу друга и партнера»? Крис Кристофферсон — тот самый, что сыграл одну из главных ролей в нашумевшем телесериале «Америка», — принял в работе семинара самое деятельное участие, словно доказывая, что его появление в антисоветском фильме было случайностью. Но какое он сам находит тому объяснение?

- В фильме «Америка» я снимался в том числе и из-за денег, хотя не могу пожаловаться на их отсутствие у меня. Конечно, политический шум вокруг «Америки» был куда больше, чем подход к фильму как к явлению художественному. Мне встречались американцы, которые даже не знали о демонстрации сериала по телевидению, но вот в СССР, выясняется, фильм не шел, тем не менее о нем все здесь говорят. Журналисты здорово поработали, отталкиваясь от свершившегося. С таким бы успехом им разобраться в первопричине появления самой идеи картины...

— И, по-вашему, накова она, первопричина?

— Взаимная боязнь, недоверие, до определенного момента отсутствие ясного взора, затуманенное представление друг о друге как о некоем воплощении недоброжелательности. Слишком долго вместо обмена идеями шел поиск идейных разногласий.

— В начале года вы ведь уже были здесь как гость. Были вскоре после премьеры «Америки» по американскому телевидению. Что влекло вас в прошлый раз, что позвало сегодня?

— Если хотите, первый раз я приезжал «на разведку». Думал: вот меня встретят как «врага», сошедшего с экрана, будут задавать каверзные вопросы, укорять и так далее. Ничего страшного не произошло, я даже выступал по советскому телевидению, давал интервью журналистам, и эти интервью были опубликованы. Словом, я уехал с желанием вернуться и с радостью принял приглашение Советского комитета защиты мира, когда оно последовало.

— Значит, появилась надежда на перемены к лучшему?

— Между нами все равно остается какая-то незримая и непробиваемая стена... Искренне признаюсь, сегодня у вас лидерство в деле установления атмосферы доверия. Хотелось бы большей активности на деле с обеих сторон. Слова, какими бы они красивыми и правильными ни были, ненадолго задерживаются в сознании.

Мир остается разделенным, а в таком состоянии он крайне неустойчив. Давайте же протянем руки друг к другу, как это уже сделали музыканты.

— Заговорил Кристофферсон-музыкант?

— Считайте, что он говорит от имени всех людей искусства. Что касается моей музыки, она несколько специфична, как и слова моих песен. Я политический певец, пою о свободе, о борцах за свободу в Южной Африке, Никарагуа, Сальвадоре...

— Если сравнить, кого в Америке больше — оптимистов или пессимистов, готовящихся к концу света?

— Больше все-таки оптимистов, хотя заметны больше пессимисты — они шумнее, напористее, ведут себя вызывающе. Их склонность к авантюризму не стоит распространять на всю нацию. Я рад, что нахожусь на стороне трезвомыслящего большинства.

Интервью вел Владимир КОВАЛЕВ.
Фото Анатолия БОЧИННА

КОГДА-ТО В ОДНОМ НАУЧНОМ ИНСТИТУТЕ Я РАБОТАЛ С П., КОТОРЫЙ В СВОЕ ВРЕМЯ БЫЛ МИНИСТРОМ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ. ВСЕ НАЧАЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕЧАТИ ОН ГЛУБОКОМЫСЛЕННО ОЦЕНИВАЛ СЛОВАМИ: «ЭТО — СВОЕВРЕМЕННО И ДАВНО ПОРА». ОДНАЖДЫ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ П., ЧТО «СВОЕВРЕМЕННО» И «ДАВНО ПОРА» — РАЗНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ. «СВОЕВРЕМЕННО» ОДОБРЯЕТ РУКОВОДЯЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, А «ДАВНО ПОРА» ИХ КРИТИКУЕТ. П. ПОМОЛЧАЛ, ПОДУМАЛ И СКАЗАЛ: «ЭТО СВОЕВРЕМЕННО». УВЫ, ЭТОГО НЕ СКАЖЕШЬ О РЕФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА, КОТОРАЯ ИСТОРИЧЕСКИ ЗАДЕРЖАЛАСЬ, ДА И СЕЙЧАС ЕЩЕ НЕ СОСТОЯЛАСЬ В ДОЛЖНОМ МАСШТАБЕ. МЕШАЕТ НАСЛЕДСТВО, КОТОРОЕ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ОТПИШЕШЬ. ЧИСЛО ПУБЛИКАЦИЙ ПО РАДИКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ РАСТЕТ ПО ЭКСПОНЕНТЕ. ЭТО ЗАКОНОМЕРНО. ЭКОНОМИКА — НАША ГЛАВНАЯ ПОЛИТИКА, И ПРОБЛЕМ В НЕЙ НЕВПРОВОРОТ.



Член-корреспондент
АН СССР
Павел БУНИЧ

Идеально было бы провести все необходимые реформы одновременно, параллельно. В этом смысле хозяйственный механизм отличается от сферы строительства, где процесс идет последовательно: сначала сооружается фундамент, а затем этажи конструкции. Однако на практике отдельные экономические реформы требуют разного времени на подготовку и осуществление, и из-за этого шаг в одной области опережает шаг в другой и оборачивается в итоге полшагом, поскольку хозяйство моноистично и разделено на отсеки лишь условно. К примеру, реформа в главном звене — на уровне предприятий — задыхается без реформ во всей пирамиде управления. Здоровая «молекула» оказывается нежизнеспособной в отторгающей ее клетке, в их общей массе. Сейчас намечены изменения в пограничных с предприятиями звеньях хозяйствования. Тем не менее реформа остается процессом, а не одномоментным актом. К концу текущей пятилетки в лучшем случае возникнет, видимо, пусковой минимум нового хозяйственного механизма.

К этому следует добавить, что кадровое обеспечение перестройки далеко от желаемого. С большой условностью и субъективностью (только для наглядности усвоения, которой обладают цифровые данные) скажу, что если современная концепция управления экономикой разработана где-то, допустим, на три четверти, то ее отдельные узлы просматриваются наполовину, а конкретные элементы — наполовину от этой половины. Наши управленцы, как ни парадоксально, более или менее освоили только элементы. Они их просто выучили, механически, как инструкцию.

Ведь что прежде от них требовалось? Принимать решения согласно заранее расписанным регламентам, подгонять жизнь под схемы. И те, кто особенно усердно водил пальцем по параграфам, отвечали занимаемым должностям. Кто позволял себе даже небольшой угол отклонения, тот, как правило, «удалялся с поля». Управленец должен был также уметь выбить низкий план, скорректировать его в сторону снижения, владеть искусством демонстрации показного благополучия. Теперь в хозяйственниках начинают цениться другие качества. Большинство инструкций не улучшится, а отменится. Придется принимать решения самостоятельно, стать не исполнителями, а действующими лицами, план не занижать, а брать от него все, на что он способен. Иначе коллективы останутся с пустыми карманами. Корректировки прекратятся, ибо станут бессмысленными: они повысят «процент» выполнения плана, но не увеличат звонкую монету на расчетном счете. Итак, грядет время творить, да еще в бурных водах товарно-денежных отношений, соответствующих алгебре, а не арифметике экономики. Новый механизм сделает человека умнее, родит спрос на «гулливеров», а не на «лилипутов», на рыцарей без страха и упрека, а не на калифов на час.

Перед управленцами возникнут два пути. Первый — сделать стандартный ход. Это обрекает коллектив всегда смотреть в чью-то спину. Более того — повторность чревата разорением. У Л. Кэрролла в «Алисе в стране чудес» сказано: чтобы стоять на месте — надо бежать. В экономике своя теория относительности. Лишь тот удерживает позиции, кто быстро бежит, поскольку вокруг все также бегут с высокой скоростью. Второй путь — сделать новый ход, который до сих пор никто

не делал. Это связано с риском, но история не зря назвала риск благородным делом. Риск, оказавшийся оправданным, ведет к лидерству, к прорыву. Надо только обеспечить эту оправданность. Тут-то и важна концепция нового механизма, личное отождествление с ней, позволяющее «интуитивно» экстраполировать имеющееся знание на незнание, использовать ключ к непроторенным действиям, исходя из духа и буквы прожектеров современного экономического мышления.

Пока такая подвижка в кадрах не произошла. Подготовка менеджеров — дело трудное. Легче учить тех, кто ничего не знает, кто словно «чистый лист». Сложнее — переучивать, преодолевать сопротивление человеческого материала. Раньше этого надо обучить самих преподавателей. Учеба в вузах станет эффективной, если продвинется школьное образование. Зубрежка, доминирующая в нем, не только убивает интерес к учебе, но и создает «живых роботов». Печально, но факт, что вместо обучения старшеклассников азам экономики нового типа мы презрительно зубоскалим об американской школе, «докатившейся» до ознакомления подростков... с коммерцией.

К концу 1990 года хозяйственники, вероятно, смогут окончить только «среднюю школу» нового механизма, в «высшую школу» они лишь поступят. Поэтому реальный КПД внедряемой системы управления окажется меньше потенциального значения. Это не может не волновать, не рождать желания ускорить ускорение, не вызывать потока идей и статей.

Со снятием немоты все захотели высказаться, выпустить накопившийся десятилетиями «пар» личного мнения, перерастающего в общественное. Все как бы вдруг стали интересоваться хозяйством, превратились из домашних экономистов в народнохозяйственных, заболели управленческим амоком. Стоит собраться компании из трех человек, как стихийно вспыхивает острая экономическая дискуссия. В моде оказались не физики и лирики, а экономисты. Более того, ученые-естественники и писатели все глубже заходят в сферу хозяйствования, подчас глубже профессионалов. Средняя «норма смелости» резко возросла. Отдельные мнения взлетают над этой планкой. Они образуют «золотой фонд идей», обладают высшей ценностью по «гамбургскому счету».

Смелость — хорошо, а обоснованная смелость — лучше. За значительной частью лихих высказываний стоят блеф, невесомость мысли необыкновенная, некомпетентность. Не меньше, а, пожалуй, больше критиков, оцененных еще А. С. Грибоедовым: «А судьи кто? — За древностию лет к свободной жизни их вражда непримирима, сужденья черпают из забытых газет времен очковских и покоренья Крыма». Одно уточнение: «древность лет» предрасполагает к консерватизму, но автоматически не обуславливает его. Есть молодые канонизаторы покойнических взглядов, есть и пожилые трубадуры, буревестники нового. Вычислив вектор общественного развития, седоки кареты прошлого, как правило, на широких форумах молчат, стиснув зубы. Но, как говорили древние, когда молчат — кричат. Молчание, следовательно, знак несогласия. Громче всего «молчат» о неудачах, неизбежных отсрочках. Что для других кислород, для них углекислый газ. Рассудку вопреки, но по велению сердца ждут хотя бы часа реставрации. Наиболее «гибкие» натуры перекрашиваются, хотя действительные уши нет — да и вылезают. Наиболее грамотные — «покачиваются», но постепенно отрезвляясь. Некоторые имеют мужество вести арьергардные бои с наступающим противником, не отрешившись от привычного назойливо-назидательного рутинерства и резонерства.

Таковы крайности. Большинство выступлений находится в зоне «золотой середины». Мне кажется, однако, все же не золотой, хотя и блестящей. Суть в том, что за последнее время в эпидемии печатных выступлений каждое последующее отличается от предыдущего аранжировкой, приоритетом душераздирающего красного слова под знаменем перестройки, поисками броских выражений, словесной изощренностью при заик-

ИДЕИ И РЕАЛЬНОСТЬ

ливании содержательной части. Известные мелодии исполняются трагичнее и громче. Может быть, это еще необходимо. Но главное в реформе не шум движения по спирали. «А смешивать два эти ремесла, — как сказал тот же А. С. Грибоедов, — есть тьма искусников; я не из их числа». Нужна рокировка к предложениям прежде всего в области создаваемого механизма управления, ибо не одной историей жив человек. У слова «запущенный» два смысла: первый — заброшенный, неухоженный, второй — только что включенный, начавший действовать. Наш механизм хозяйствования раньше отвечал первому смыслу и не поддерживал никакой критике, так как не выдерживал ее. Теперь он оживляется, становится работающим, расположенным к нововведениям.

Символическая переключка времен: 24 октября 1918 г. «Известия» открыли новый раздел под названием «Маленькие недостатки механизма», отвечающий одноименному очерку Г. И. Успенского. «Мы будем в нем указывать, — писала газета, — известные нам недочеты в работе советских органов и безжалостно разоблачать все злоупотребления, где бы таковые ни творились именем Советской власти, твердо памятуя, что от таких злоупотреблений лиц, прикрывающихся именем Советской власти, последняя страдает больше, чем от прямых ударов ее открытых врагов».

Что касается успешно сделанного, то его необходимо всемерно тиражировать и выводить на проектную мощь. К этому смещается центр тяжести проводимой реформы, а в конечном счете — весь ее смысл, все назначение.

ПРАКТИЧНОСТЬ ХОРОШЕЙ ТЕОРИИ

Обозначился и ряд других кардинальных проблем. Думать о них, обсуждать, готовить предварительные условия необходимо уже теперь. Позже — вновь упустим время, опять станем жертвами собственной неадекватности.

На первое место я бы поставил проблему разработки хорошей теории политэкономии социализма. Начинать с теории? Не странно ли? Нет, не странно. Ибо сдвиги в хозяйственном устройстве столь велики, что они уже упираются в препятствия, создаваемые догмами общественных наук.

Приведу несколько примеров необходимости нового теоретического подхода. Самым правдивым считалось утверждение, что «план» — выше «хозрасчета», что хозрасчет — лишь пассивный инструмент выполнения централизованного плана. В итоге предприятия стали занижать планы, чтобы потом их успешно выполнять и перевыполнять. Если же хозрасчет не просто орудие наблюдения директив, а система самозарабатывания средств на развитие коллективов, если низкий план выполнен, а денег мало, то выгодно окажется бегать за договорами, а не от них, стремиться к предельному ускорению НТП. Если до этого коллективы превращали труд овеществленный в умерщвленный, слона — в муху, металл — в металлолом, текстиль — в утиль, то хозрасчет заставляет считать копейку, превращает каждого в управленца, притом не скрягу, поскольку скупой проигрывает. Выходит, что теория, формулы, слова — не слова на ветер. Они могут завести в пропасть, а могут поднять в гору. Выходит, план и хозрасчет не начальник и подчиненный, а важнейшие стороны противоречивого единства, имеющего хозяйственным механизмом.

Дорого нам обошлось ортодоксальное утверждение, что поскольку социализм призван обеспечить высокий уровень жизни народа, то главное — наращивать производство, а «фирма перед затратами не постоит». При заинтересованности в заниженном плане производство увеличивалось все меньше. Зато затраты росли. Наложение этих двух тенденций определяло скромные темпы удешевления расходов на единицу продукции, вследствие чего число этих единиц, потребительных стоимостей в натуральной форме оказывалось недостаточным. Умаление закона стоимости мстило основному закону нашего строя — закону благосостояния.

Крайне упрощена и малоэффективна действующая модель соревнования. Если в спорте майку лидера надевает действительно сильнейший, то в нынешней хозяйственной жизни наивысший процент выполнения плана часто достигается посредственным коллективом.

Сейчас соревнование переключается на борьбу за рынок, за потребителей. Победит тот, кто сделает больше, лучше, дешевле и вовремя. Чтобы все это определяло поведение производителя, он должен быть не единственным, а иметь соперников. Отсюда курс на антимонополизм производства. Ему отвечает встречный курс на антимонополизм потребления. Отвергается, следовательно, любая монополия, которая везде связана с незаслуженными преимуществами. Новый подход к соревнованию реализуется созданием нескольких предприятий для удовлетворения одной потребности, раздачей по конкурсу выгодных государственных заказов, оптовой торговли средствами производства, при которой покупатель свободно выбирает продавца, составлением государственных предприятий с кооперативами, индивидуальными производителями, смешанными предприятиями, с импортом, превращающимся в своеобразного воспитателя, и т. д. Соревноваться должны не только производственные коллективы, но и банки. Тогда их хозрасчетные внутренние стимулы борьбы за клиента усилятся внешними, и общая отдача возрастет. Предстоит огромная теоретическая работа, чтобы выпустить джинна состязательности, дремлющего в каждом из нас, развить соревнование до его потенциальной роли как могучей производительной силы.

Вот примеры новизны подходов, решений. Бауский райбыткомбинат выплачивает своим работникам процент от дохода на вложенные ими в предприятие средства. Колхоз «Адажи» (оба коллектива в Латвийской ССР) вовлекает на развитие средства населения района. На заемной основе повсеместно разрешено инвестировать доходы трудящихся в объекты социального назначения. Этот процесс нарастает. Но вот вопрос: а не противоречит ли начисление процентов на прошлый труд (на инвестиции за счет сбережений трудящихся) оплате по труду, не означают ли они доход на капитал? Тот же вопрос в принципе можно адресовать начислению процентов на вклады населения в сберкассах. Если этот вопрос не решить — возникнут сомнения в «чистоте» нововведения, его внедрение затормозится. Думаю, что рабочие предприятия, использовавшие накопления населения, не смогут пожаловаться на эксплуатацию, поскольку без этих накоплений они не имели бы дополнительной прибыли, которая им остается после уплаты процентов.

Далее. Предприятия государственной собственности все более начинают управляться по образу и подобию кооперативных. Бригадам, отдельным работникам устанавливаются фиксированные платежи в пользу государства и предприятия — аналоги лицензий. С работников, хозяйствующих на условиях подряда, в частности в совхозах, взимаются начисления за аренду земли, техники, складов и т. д. Эти работники начинают говорить о том, что им, например, дешевле выкупить склады, построить свои.

Политэкономический «нонсенс» состоит в том, что высшая форма собственности будто бы опускается до низшей, что с ней недопустимо смешиваются другие формы собственности. На деле же прежняя государственная собственность была искусственно бюрократизирована и поэтому оказалась недостаточно эффективной. Теперь ей возвращается не кооперативное, а рациональное начало, присущее собственности вообще.

Немало путаницы в теории оплаты труда. Она начинается с того, что оплата рассматривается как вознаграждение за величину затраченного труда. Иногда следует дополнение — и за его результаты. Так эклектически соединяются две разные позиции. Более последовательной из них выглядит вторая. Величина труда может быть большой без результата. По затратам рабочей силы самый богатый человек Сизиф. Но он ничего не создает. В то же время умелые работники правильно предвидят, формируют и удовлетворяют

общественные потребности. Их труд результативен и сам себе формирует источник оплаты.

А сколько можно зарабатывать? Казалось, такого вопроса быть не может — в зависимости от результатов, которые не имеют заданного предела. Однако прежняя точка зрения утверждала иное. Много зарабатывать — смертный грех, к этому, дескать, стремятся рвачи в жадной тоске по вещизму. Мало зарабатывать тоже нехорошо — социализм не имеет права на существенную дифференциацию оплаты, это, мол, несправедливо. Таковы теоретические основы уравниловки, при которой в расчете на единицу простого труда худший работник и худшее предприятие зарабатывают больше, чем лучшие. Многие коллективы, занимающие первые места по качеству работы, экономящие затраты, оказываются по средним заработкам в хвосте таблицы. Например, средняя зарплата на Купавинской тонкосуконной фабрике ниже, чем на Завидовской, хотя купавинскую продукцию разбирают «на ура!», а завидовскую значительно хуже. Не минула чаша сия даже колхозы, где заработки работников в самых высокорентабельных хозяйствах превышают заработки в убыточных на... 11 процентов при доходах вчетверо больших. Итог известен. Инициатива наказывается и подрезается. Это тонко уловил Михаил Пряслин из «Дома» Ф. Абрамова. Михаил работал бригадиром и косил от души, иначе не умел. За ним вынужденно тянулась бригада и кляла руководителя. «Народ» добился своего — Михаила перевели в конюхи.

Кому на Руси жилось хорошо? Хитрому мужику-середнячку, даже лентяю. Все получали в конце концов мало, но работали еще меньше. Разница покрывалась за счет будущих поколений: уменьшалась доля накопления, нарастал невосполняемый износ производственных фондов, форсировался экспорт дефицитных природных ресурсов. Всему этому теперь приходит конец. Социально справедливым считается платить по результатам работы, «потолки» в оплате преодолеваются. «...Не должно быть никаких ограничений — все, что зарабатывает человек, должно быть отдано», — подчеркивал М. С. Горбачев. Люди станут богаче. Не капитализм ли это? «Рабочий, владеющий домиком стоимостью в тысячу талеров, правда, уже не пролетарий, но нужно быть г-ном Заксом (прудонистом. — П. Б.), чтобы назвать его капиталистом», — писал Ф. Энгельс.

Возьмем размеры предприятий. Преимущество крупного производства у нас абсолютизировались. Мелкие предприятия считались незаконнорожденными, наследием прошлого, которое надо форсированно промотать. Между тем крупное производство реализует свои плюсы, когда оно создает новую производительную силу. Если же организовать одну парикмахерскую на весь город, то она не повысит производительность каждого парикмахера, сам труд которого остается индивидуальным-обособленным, каким был и до этого. Неудобства же для населения окажутся очевидными. Мелкие предприятия необходимы как спутники крупных, ибо они берут на себя выпуск несложной специальной комплектации. Мелкие предприятия с невысокой фондоемкостью способны на быстрые оперативные перемены, скажем, выпуск модных изделий малыми партиями и т. д. Видимо, настала пора утвердить в политэкономии принцип, что в определенных условиях мелкое производство перспективнее крупного.

Существует много и других теоретических проблем, ждущих решения. По существу, речь идет не о новой главе экономической науки, а о коренной перестройке. Задача состоит в том, чтобы вывести теорию социализма из застоя, перевести ее на передовую линию социально-экономического фронта, превратить политэкономия из науки «освещать» в науку «побеждать». Многим исследователям можно сегодня адресовать цитату из Г. Гейне:

Брось свои иносказания
И гипотезы святые!
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые.

Дело это архитрудное, но и архиважное. Поэтому в нем нельзя проявлять поспешность, но и промедление тоже, ведь отпущенное на реформу время уже съедено прошлым.

ФУНДАМЕНТ ПЕРЕСТРОЙКИ

Исходный пункт, фундамент перестройки — переход к действительному хозрасчету в основных звеньях производства, на предприятиях и в объединениях. «Печка» хозрасчета, его костяк — самофинансирование. Начиная с индустриализации это понятие считалось несовместимым с социализмом. Ни больше ни меньше. К его сторонникам относились как к опасным людям, печатали редко, а ведущие газеты и журналы просто не пускали на свои страницы. Вот так: хозрасчет признавался, а самофинансирование — нет, себестоимость считалась «нашей» категорией, прибыль (обратная ей величина) — чужой. Какой получился хозрасчет? Сначала утверждали — хороший. Потом сказали — формальный. Если же честно, то никакой, ибо формального хозрасчета не бывает. Он или полный, или его нет.

Два с лишним года продолжается битва за настоящий хозрасчет. Из его внедрения на первых порах сотворили кумира, а недавно Совет Министров СССР отметил, что перевод с 1988 года предприятий на полный хозрасчет и самофинансирование должен осуществляться неформально. Выходит, до сих пор он проводился «формально»? Знакомый мотив.

«Самофинансирующиеся» предприятия вносят в бюджет ту прибыль, которая осталась по централизованному финансовому плану на их внутренние нужды. Высокорентабельные трудовые коллективы (с малыми отчислениями прибыли на собственные нужды) вносят, к примеру, 90 процентов, малорентабельные — 10, а то и вовсе получают дотации. Такая практика наказывает передовиков, поощряет нерадивых. Все это появилось еще несколько лет назад под красивым названием «нормативного метода распределения прибыли», скрывавшим обыкновенную «пром- и продразверстку» финансовых заданий. Перед нами по существу прежнее силовое перераспределение, игра административных мускулов, с той разницей, что она допускается при составлении плана и продолжается при его исполнении.

Предприятия Минхиммаша платят в бюджет налог с прибыли примерно 50 процентов. И высокорентабельные, и малорентабельные. Поэтому лучшие коллективы получают перевес в фондах развития, поощряются, у худших средств не хватает, они вынуждены подтягиваться. На такую систему — как на программу-минимум — надо, видимо, переводить все предприятия и отрасли.

Есть ли уверенность, что это будет сделано? Казалось бы, да, коль скоро намечен переход к неформальному самофинансированию. Но многие министерства готовят переход на старую схему самофинансирования. Ссылаясь на утвержденный пятилетний план, они сохраняют все прежние финансовые взаимоотношения. Прямое указание правительства СССР о формировании плана 1988 года, исходя из новых условий хозяйствования, выполняется в крайне урезанном виде, хотя Минхиммаш показал пример удачной «притирки», более последовательного сопряжения самофинансирования и пятилетнего плана. Кто хочет, как говорится, тот решает, а кто не хочет — тот ищет отговорку. Если пойти на поводу отсталых взглядов, то самофинансирование окажется бесполезным и в конце концов скажут: не надо было за него браться. А на самом деле брались не «за» него, а «против» него.

Самофинансирование — это одна сторона медали хозрасчета. Вторая — самостоятельность трудовых коллективов. Если ее нет, то требовать самофинансирования попросту нельзя. Предприятия ответят, что их результаты деформированы насильственно спущенными заданиями, недостаточным централизованным снабжением сырьем, а посему они отказываются отвечать рублем. Самофинансирование, следовательно, вершина айсберга, основанием которого служат самопланирование, самоснабжение, демократия на производстве и в обществе.

Все сопутствующие самофинансированию инструменты создаются в муках. И здесь пока больше суррогатов, чем серьезных дел. Особенно на периферии, где высокая волна реформ подчас разбивается о волнорезы, превращается в штиль.

Самостоятельность не исключает централизации. Она только требует особых форм. И они имеются. Это единые экономические нормативы, не дающие никаким предприятиям односторонних преимуществ, но и не превращающие их в без вины виноватых. Это государственные заказы, предоставляемые коллективам. Это, наконец, контрольные цифры, спускаемые коллективам как «информация к размышлению».

Все каналы включения предприятий в сеть централизованного плана пока действуют с большим скрипом, исходящим от старого хозяйствен-

ного устройства. Не разработаны единые налоговые нормативы. Государственный заказ в настоящее время представляет собой переименование несколько суженной централизованной номенклатуры. Никакого договорного механизма взаимоотношений между государством и коллективом он не включает. Контрольные цифры служат не столько для информации предприятий, сколько для предписания им обязательного поведения. И так, снова вирус формализма — от чего ушли, к тому пришли. «Дома новые, но пред-рассудки старые».

Самофинансирование превращается в иллюзию, если цены всегда покрывают затраты. У нас цены именно затратные. Как всегда, в полном соответствии с «практикой» политэкономы, как правило, относились к ним с большой симпатией, видя в них приближение к трудовой стоимости, но в то же время считая цены, ориентирующиеся на эффект выпускаемой продукции, потрясением устоев.

Мы заинтересованы ныне в глубокой реформе цен, чтобы они определялись с учетом потребительских свойств продукции, а затраты считались оправданными только в границах таких цен.

Наши внутренние цены должны, видимо, сопоставляться с мировыми. Это мобилизует производителей на мировой уровень качества, создаст одну из главных предпосылок конвертируемости рубля. Если цены на какие-то важные товары останутся низкими, то выданные в обмен на чужую валюту рубли позволят нашим партнерам закупить и вывезти из страны те изделия, которые дешевле мировых цен; произведенный национальный доход окажется частично утраченным.

Зачем нам конвертируемость рубля? Стоит ли овчинка выделки? Стоит. Потому что тогда мы сможем широко приобретать за свободную валюту лучшее на рынке международного разделения труда. Потому, что если наши рубли где-то задержатся и не будут немедленно предьявлены к отовариванию на советском рынке, то это будет равноценно временному бесплатному кредиту, полученному СССР. Каждый советский человек сможет ездить в туристические поездки в зависимости от заработанных средств, а не от разнарядки, гордиться не только паспортом, но и валютой своей страны, которая при успешном развитии внутренней экономики будет «тяжелеть», укрепляться, котироваться все выше.

Говорят: для начала все терпимо. С этим трудно согласиться. Из ничего не возникает ничего. От женитьбы кукол дети не рождаются. Неп сразу обеспечил бум экономики, ибо делался всерьез, а не мелкими шажками. Пока создаваемая система управления не пустила глубоких корней, гарантирующих необратимую логику развития, она нуждается в мощной партийно-государственной воле. Известно, что самая трудная должность на земле — быть вождями народа. В борениях со старым, в утверждении нового им нужно быть силачами необычайными. Время жмет, обязательства обязывают, дела идут медленнее, чем намечалось, возможен соблазн приукрасить положение, а требуется иное: исходить из критического отношения к действительности, убеждать других, заменять разочарованных и уставших (а тем более сопротивляющихся) руководителей хозяйства на активных проводников реформы, стойких и творческих ее приверженцев.

Самоочистка происходит и снизу. Люди изголодались по порядку, пострадали перестройку. Активность масс нарастает. Если раньше существовал феномен опережающих аплодисментов, то теперь он заменен феноменом опережающей критики. Пришедший во время еды «большой аппетит» превосходит предлагаемую «пищу». Возникающее вследствие этого недовольство — это недовольство максималистов, истовых сторонников нововведений, не довольствующихся малым.

На переломе истории авансирующую функцию выполняют идеология, самоотдача людей, которые прежде всего тратят свои, а не общественные ресурсы. В огромной степени важно нацелить массовое общественное мнение на борьбу с разгильдяйством. И когда продавцы, машинистки, водители такси, работники жэков и т. д., и т. п. станут со всеми считаться, это будет означать, что вся масса вовлечлась в перестройку, лед не только тронулся, но и начал таять.

ВСЕ ЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ РАЗУМНО?

В общем смысле на этот вопрос почти все отвечают отрицательно. Если же начать анализировать какой-либо конкретный период истории, то выявляются разные позиции. Возьмем индустриализацию страны. Она начиналась с тяжелой

промышленности и проводилась в ударно короткие сроки. Жизнь подтвердила правильность принятого курса. Благодаря индустриализации и основанной на ней коллективизации удалось предотвратить разгул мелкобуржуазной стихии, особенно опасной для страны с преобладанием крестьянства. Был побежден фашизм, которому служили почти вся зарубежная Европа и Япония.

Индустриализация в условиях отсталой экономики, разрухи предопределяла усиление централизованного управления, концентрацию ресурсов в одном железном кулаке. «Недобор» централизации был хуже «перебора». За первые десятилетия новой власти родилась талантливая когорта командармов хозяйствования: Ф. Э. Дзержинский, Г. К. Орджоникидзе, В. В. Куйбышев, В. В. Оболенский, Я. Э. Рудзутак, А. Г. Шляпников, В. Я. Чубарь, В. И. Межлаук, А. Д. Цюрупа, В. В. Шмидт, И. Ф. Тевосян, А. П. Завенягин, И. А. Лихачев, И. П. Бардин и многие другие. На полную мощь раскрыл свою производительную и политическую силу рабочий класс. Лучшие из лучших получали право называться стахановцами. Индустриализация — советское чудо. Эту историю переписать нельзя. Потому что она не ложная, а истинная, не бронзовый монумент начальственного величия, а память народа, не забывающего своих героев, известных и еще больше — неизвестных солдат, которые в самых экстремальных условиях выполнили свой долг перед страной и человечеством.

Ценить — не значит переоценивать, дорожить прошлым — не значит идеализировать его, почитать — не значит простить. Истинная любовь к отечеству в отличие от лакейского патриотизма «ревнива и взыскательна». «Какой патриот, какому народу ни принадлежал бы он, не хотел бы выдрать несколько страниц из истории отечественной и не кипел негодованием», — писал П. А. Вяземский, — видя предрассудки и пороки, свойственные его согражданам? Мы первыми совершили социалистическую революцию, первыми выявили законы ее развития. Наш народ первым начал мирное освоение космоса. Но строительство нового общества на Невский проспект. Были допущены серьезные ошибки. Раньше или позже они открыто вскрывались и исправлялись.

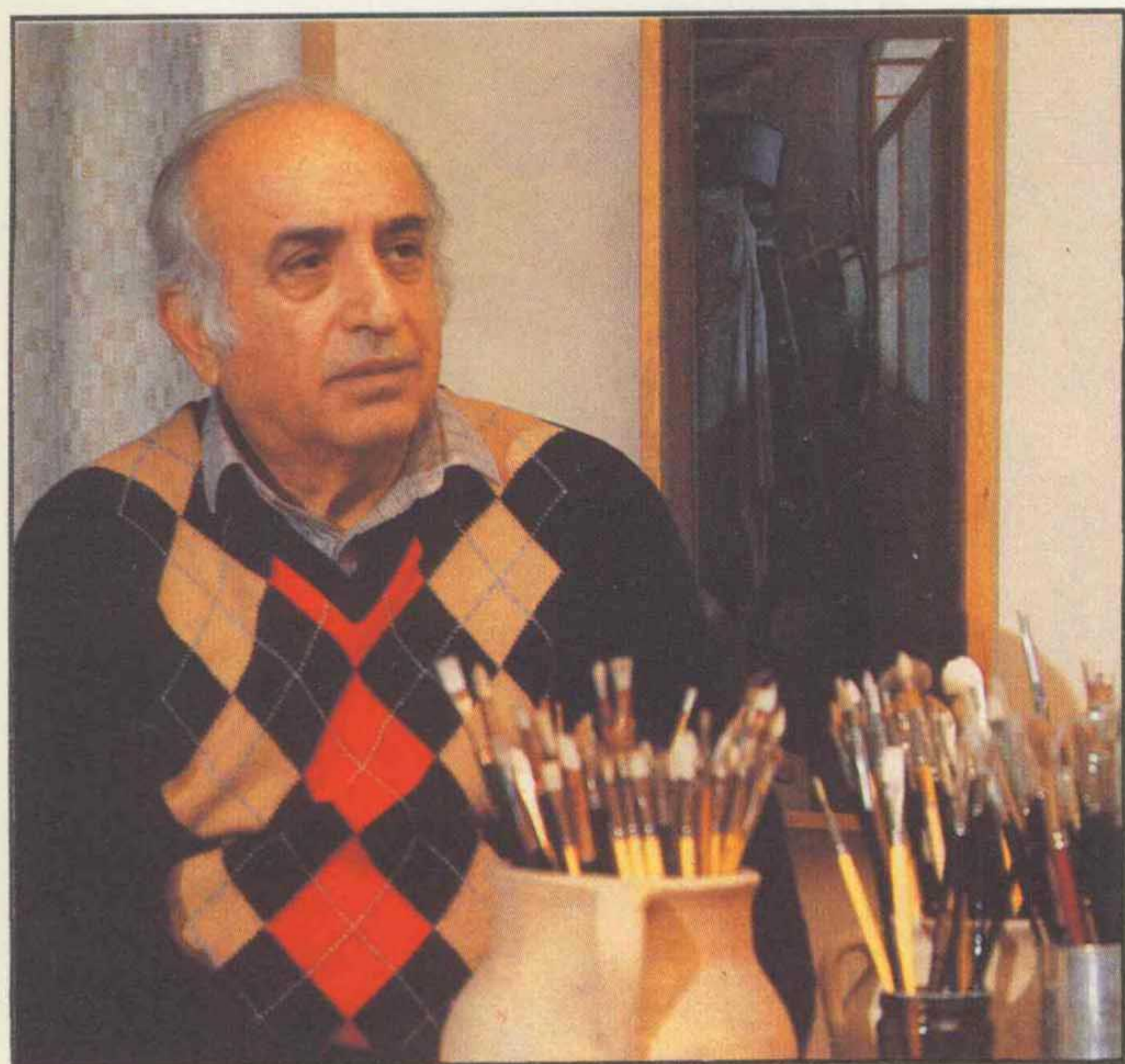
Если нет вопроса относительно необходимости индустриализации и повышенной централизации, то относительно методов осуществления централизованных решений вопрос есть. Должны ли были они обязательно носить сугубо приказной, административный характер, или существовала альтернатива демократического централизма? Можно ли считать диктаторский стиль исторически вынужденным, или имелись условия для дирижерского стиля? Сторонники первого подхода защищают его, ссылаясь на высокие достигнутые результаты. Но при демократическом централизме эти результаты могли стать еще выше — за счет инициативы, социальной удовлетворенности народа. И если бы тогда, при переходе от нэпа к индустриализации, сохранились заложенные В. И. Лениным экономические методы управления, то сегодня не пришлось бы с таким трудом их возрождать. Прогрессивные, жизнеспособные побег рождает механизм сельского хозяйства — достаточно сказать о ленинских идеях кооперации, знаменитом «Не смей командовать!», семейном и коллективном подряде.

Соединимы ли индустриализация, развернутый централизм и экономические, демократические формы управления? Соединимы. Для этого могут применяться высокие налоги, широко раздаваться госзаказы на строительство и эксплуатацию объектов тяжелой промышленности, вводиться минимальные нормативы образования валютных фондов. И все эти, как и многие другие инструменты дирижерского руководства хозяйством, не только были известны в период формирования жесткой административной машины, но и успешно действовали, пока их не смыли. Существовали государственные заказы на оборонную продукцию, заказы текстильного синдиката (возглавляемого В. П. Ногиним), текстильным фабрикам, договоры о контрактации сельскохозяйственной продукции между государственными и кооперативными организациями, с одной стороны, и крестьянскими хозяйствами или их объединениями — с другой, налоговые механизмы. Богатство мыслей о регуляторах хозяйства из литературы тех лет нелишне вспомнить и сегодня.

У истории нет черновиков, ее не проиграть назад, как киноленту. Поэтому исторические ошибки, к сожалению, непоправимы. Однако они учат тех, кому предстоит пройти новый участок пути.

Назад дороги нет. Мы вошли в океан проблем и неудержимы в своем движении к цели, не смотря ни на какие встречные течения.

«Я ВИЖУ АРМЕНИЮ ТАКОЙ...»



Анна КОВАЛЕВА

Начало его жизненного пути схоже с судьбами многих армян из зарубежных колоний, оказавшихся в изгнании после ужасов турецкого геноцида. Двадцатые годы. Египет, Александрия.

Семья фотографа. Несложный быт.

— Когда мне исполнилось семь лет, — рассказывает Акоп Тигранович Акопян, — скончался отец. Он был для семьи всем — главной опорой, а для меня еще и открывателем того нового, особенного мира, который на всю жизнь заворочит и станет моим. А было это так. Однажды он принес домой листы бумаги и карандаши, попросил меня нарисовать лошадь. Мне показалось это невозможным. Попробовал. Каково же было мое удивление, радость, когда рисунок получился. Это стало великим чудом и счастьем. Оказывается, так просто и

естественно можно изобразить все то, что видишь вокруг. Взрослые меня хвалили — я старался и рисовал все подряд. А скоро почувствовал, что не могу без этого занятия.

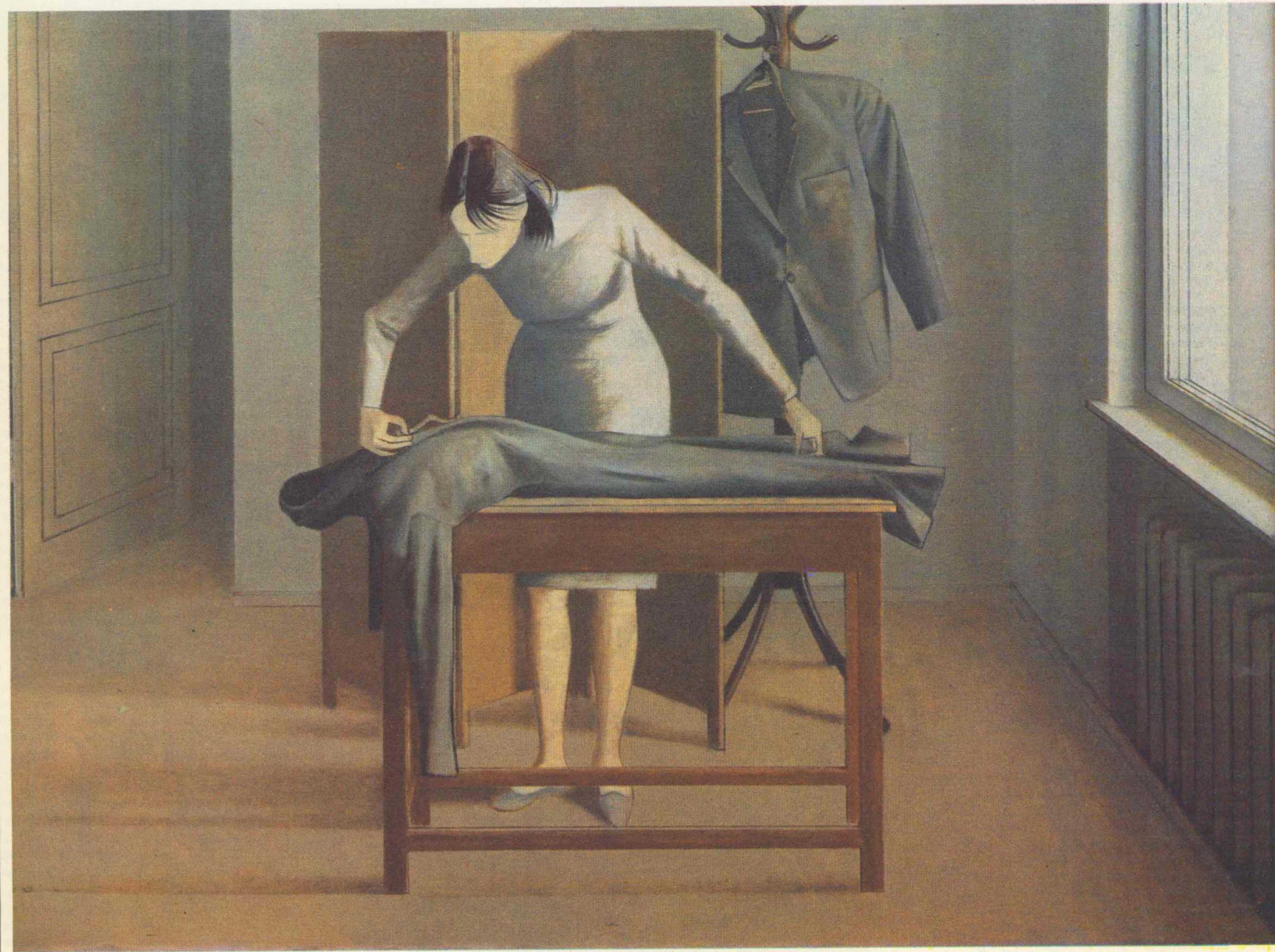
Однако после смерти отца семье жилось трудно, и Акопа отправили на Кипр. Школа-пансион Меконян была для учащихся «малой Арменией». Именно там воспитывалось чувство любви к родине, которое в дальнейшем определило судьбу Акопяна — ныне народного художника Армянской ССР, лауреата Государственной премии СССР.

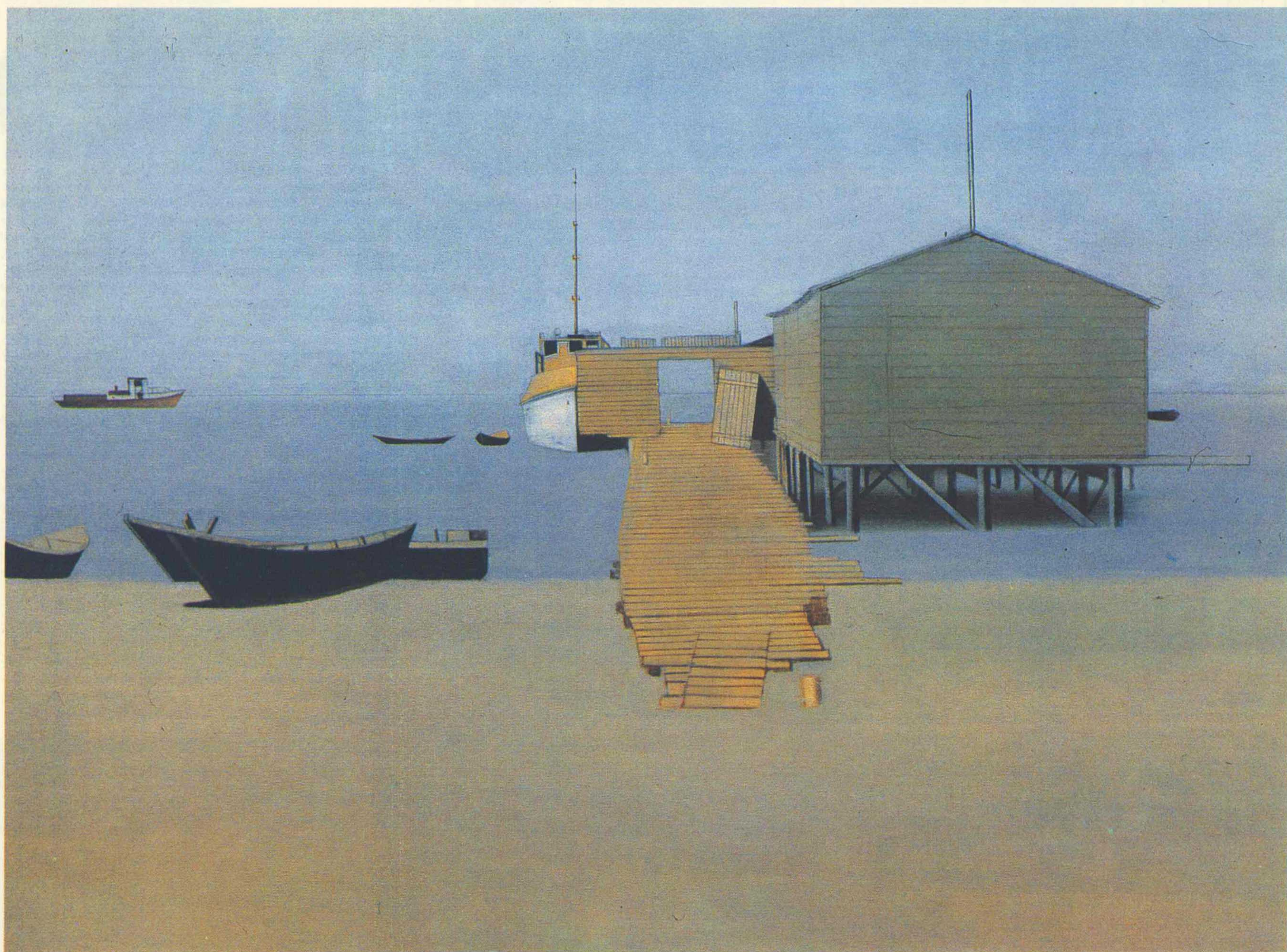
...Мысль переехать в Армению родилась давно, но в годы второй мировой войны это было невозможно. Вернувшись с Кипра, Акопян поступает на учебу в Высшую художественную академию Каира. С успехом участвует в выставках, за что направляется египетской армянской колонией на два года в Париж, на учебу.

— Произведения французских художников буквально оглушили меня. Я испугался, что не смогу найти себя, метался, мучился, томился. И вот од-

ПАЛИТРА

А. Т. АКОПЯН. Род. 1923. ПОРТНИХА. 1985.

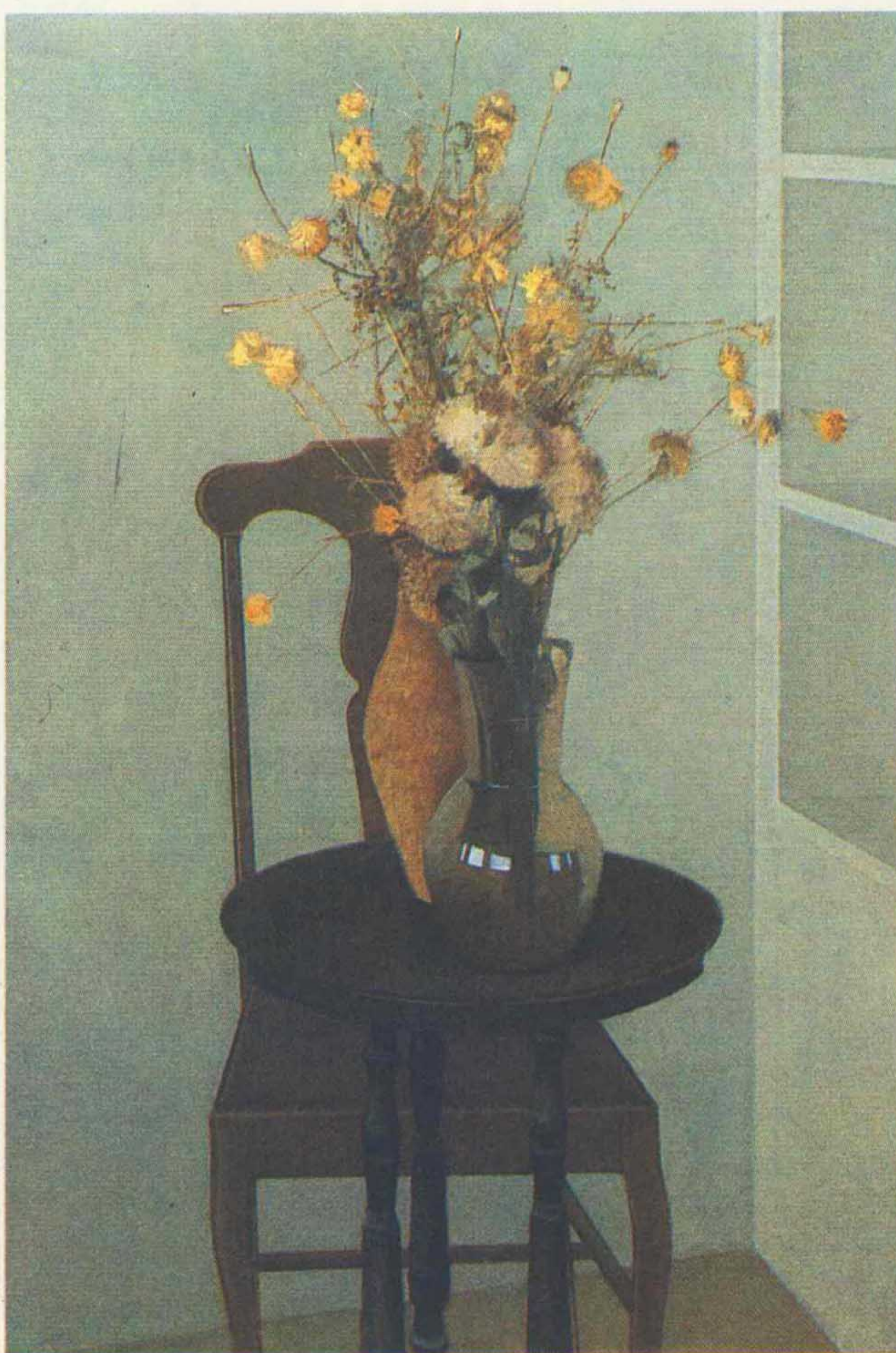




нажды утром вышел на балкон и увидел: связка чеснока, прикрепленная к водосточной трубе, старые вещи, которые обычно бывают на балконах. Принес холст и начал писать. И был счастлив: наконец-то я нашел свое, я открыл свой мир — пусть незатейливый мир вещей, но он теперь станет моим. Тот мир, что окружал нехитрую жизнь маленького человека, его обреченность на одиночество и тоску.

Потом, вслед за натюрмортами, в его творчество вошел портрет. Героями полотен художника стали портной и официант, кухарка и рыбак. В их портретах мы не найдем надрыва чувств, хотя все они драматичны по своему состоянию. В них нет внешних эффектов выражения горя. Все эти люди сдержанны, они словно срослись со своей болью. Именно суровый аскетизм изобразительных средств, продуманность каждой детали, монохромный колорит создают то ощущение отторженности и безысходности, в которое они пожизненно «заключены», оставаясь один на один с собой.

1962 год. Ему 39 лет. Акопян уже сложившийся художник. Его знают в Советском Союзе. Лучшие работы подарены автором Государственной картинной галереи Армении. Наступил долгожданный момент — со своей семьей он репатрируется в Советскую Армению. Первая же выставка приносит успех. «Мое возвращение на родину открыло для меня новый жанр — пейзаж. Именно через него стали налаживаться связи с родной землей — шло постижение исто-



НА БЕРЕГУ СЕВАНА. МАРТУНИ. 1969.

НАТЮРМОРТ СО СТУЛОМ. 1986.

ков традиций и культуры моего народа».

Так в замкнутые интерьеры прежних произведений автора ворвалась распахнутость мира и пейзажей Армении.

У тех, кто знаком с полотнами Мартироса Сарьяна и Минаса Аветисяна, с их звонкой красочностью, сочностью и открытостью цвета, жизнерадостностью, пейзажи Акопяна могут вызвать удивление приглушенностью сближенных тонов, белесой охрой, тонко сгармонизированным цветом, рассеянным светом, смягченными тенями. Иногда в них нет-нет да и мелькнут интонации плоских песков Египта, волнистых ландшафтов пустынь. Может быть, отзвуки детских впечатлений проскальзывают в них? Однако, присмотревшись, понимаешь, что образ Родины, созданный Акопяном, истинно созвучен всему психологическому строю восприятия мира армянским народом, глубоко национален по своей сути, которая раскрывается зрителю не сразу, а в игре ассоциаций, в оттенках глубинного подтекста. В его пейзажах мы не найдем хрестоматийного образа Арарата, Севана. Он избегает заманчивых этнографических подробностей живописного уклада сельской жизни.

Тайна настроения полотен кроется в особенностях интонаций цвета, держится на едва уловимых оттенках колорита. То неяркий коричневатосерый, то чуть зеленоватый, бледно-голубой поражает нас неожиданностью восприятия художником армянского пейзажа.

В последние десятилетия Акопян обращается в своем творчестве к такому богатому по своим эмоциональным возможностям жанру, как портрет.

Нередко человек в творчестве художника показан не конкретно, а через окружающие предметы, одежду, хранящую тепло, очертания и перенимающую как бы свойства характера владельца. Так возникли целые серии «костюмов», «манекенов», «столярных инструментов и перчаток». «Мне кажется, — говорит художник, — что предметы, окружающие людей, что-то берут от них, перенимают их повадки, ведут друг с другом беседы, выражая еще нечто помимо самих себя — восторженность и агрессивность, красоту и жестокость, или отражая целые ситуации — схватку, любовь, материнские чувства. Их сочетания порой напоминают модель мира, в котором мы живем». Так рождаются натюрморты. Натюрморт — один из любимых жанров Акопяна. В него художник переносит сложные, подчас полные драматического напряжения человеческие переживания. Натюрморты разнообразны по состоянию — от трагизма до умиротворенности. Умея видеть за привычными оболочками предметов их скрытые характеры, Акопян разыгрывает с ними сложные психологические этюды, в которых он выступает тонким и проницательным режиссером, наполняя свои «спектакли» игрой иносказания, намеков, ассоциаций.

...Последний этаж высотного здания в центре Еревана. Мастерская художника, одного из крупнейших мастеров советского изобразительного искусства. Окна — на четыре стороны света. В одном из них — тающие контуры Арарата. Множество сухих цветов, веток, колючек; кактусы, высохшие плоды и овощи, рыбы, керамические кувшины, перчатки, скрипка, столярные инструменты, манекен... То, что потом прихотью фантазии художника станет главным действующим лицом его произведения.

Мерцает белизной натянутый холст, в который сейчас войдут эти предметы, и — родится новый мир, полный человеческой чистоты и щедрости, мир художника Акопа Акопяна.

Лоик ШЕРАЛИ

ЧАША ХАЙЯМА



Твой стих, Хайям, отделан и отточен,
Он — в сердце дверь, отворена она.
Твой краток стих, всего четыре

Но ведь и жизнь не более длинна.

Хайям — певец вина? Мы этот вздор
Выслушивать должны в суждениях

Пьян тот, кто не пил из его
Кто пил, тот стал трезвее и умней.

Весь мир — твой взгляд, вся жизнь —
Но вдруг — обман? Но если ты —

Кто ошибиться каждый день боится,
Тому ошибкой было — народиться.

Проходит жизнь в смятении и

В душе безлюдно, холодно, темно.
Зачем же осенью от сердца ждать

Когда весной не расцвело оно?

Мы живы, дух народа не угас,
Не предавайтесь, люди, суесловью.
Мать белым молоком поила нас,
История всегда поила кровью.

Река течет — а берег неподвижен,
Река бушует — берег неподвижен,
Река иссякнет — берег неподвижен,
Река вернется — берег неподвижен.

Не всякий на коне — герой и атаман,
Не всякий зрячий верный путь

Не всякий тот, кто хром, — великий
Не всякий тот, кто слеп, — как Рудаки,

Пересыхает бурная река,
Земля, что ей служила берегами,
Истрескалась, бесплодна и суха,
Как губы, разлученные с губами.

Твое богатство — время, год ли,
Жизнь мучает и улаживает нас.

Люби страдая, годы ведь не деньги,
И ты их не отложишь про запас.

Поскольку сами мало понимают,
Все мудрое за глупость принимают.
Для добрых дел их руки коротки,
Зато длинны их злые языки.

Что горько одному, другому, может,
Тут правды свет, а там в почете ложь.

Всему свое в подлунном мире место.
Среди слепцов и одноглазых —

Мы — жернова. Всегда скрежещем

Легко ли наше каменное бремя?
Все перетрем. Но крошимся и мы.

«Случайно все». «Судьба или не

Молва людская утверждает.
Сама история слепа.

Не полюбив, не будешь и страдать,
Как может сердце без любви

Не выйдя в путь, нельзя в пути
Не выйдя в путь, как можно
Сверкни, сверкни средь непроглядной
Ты, вспышка сердца, озаряя землю.

Не выйдя в путь, нельзя в пути

Не выйдя в путь, как можно

Сверкни, сверкни средь непроглядной

Ты, вспышка сердца, озаряя землю.
Погибни в небе, где парят орлы,
Хоть все равно потом зароят в землю.

Одна догадка всех других мне ближе,
Моя утеха с возрастом она:

Бывают памятники выше или ниже,
Но глубина могил у всех равна.

Живи в пути, в работе, на ветру,
В любви, в страданье.

Что в жизни ты не чаша на пиру,
Коль опустеешь, снова не наполнят.

Кто слеп глазами, это полбеда,
Кто сердцем слеп, тому гораздо хуже.

Кто заплутался ночью — полбеда,
Кто в ясный полдень заплутался —

Что слепой потеряет, то зрячий

Где глупец заплутался, там мудрый

Но бывает, к несчастью, и наоборот:
Где мудрец проморгает, там дурак

О чем не надо громко говорить,
Нам раскричать повсюду

Что нужно вслух с трибуны говорить,
Друг другу шепчем на ухо украдкой.

Те, что всю жизнь копили и стяжали,
Не оценили дней и лет своих.
Они кубышки в землю зарывали,
Теперь, увы, зарыли в землю их.

Давнишний день, вчерашний день,
Считать года, часы, минуты? Дичь!

Считает ли шаги свои охотник,
Преследуя, выслеживая дичь?

Вобрал я опыт многих поколений,
Еще я крепок, я еще — в седле,
А голова под тяжестью сомнений,
Как спелый колос, клонится к земле.

Нам истину одну запомнить нужно,
Она проста, доступна и важна:

Просторен мир, когда царит в нем
И тесен он, когда царит вражда.

Из одного замешаны мы теста.
Живя, дыша, ликуя и скорбя,
Чтобы найти в бурлящей жизни место,
Найди сначала сам в себе — себя.

Пишу стихи отважно и влюбленно
И раздаю их людям неспроста.

Я уподоблен сумке почтальона:
Набита утром, к вечеру — пуста...

Мы — сыновья суровых лет земли.
Потомки, занесите на скрижали:
Каналы сквозь пустыни мы вели,
А сами все от жажды погибали.

Успел моргнуть, а день уже прошел,
Еще моргнул — и жизнь прошла

Я в жизнь, как в школу ученик,
Не выучив домашнего урока.

Мое сердце — река, но не хочешь ты

И тропинка давно уж заглохла,
Перестала к реке ты с кувшином

Вот придешь, а река — пересохла.

Река, река, подумал я скорбя,
И ты судьбу людей напоминаешь:

От родника, родившего тебя,
Ты каждый день все дальше убегаешь.

Тот продолжает плакать и стенать,
С потерей примириться тот не хочет.

Не тратьте времени на то, чтоб жизнь

Не делайте ее еще короче.

Вон светлячки — уж были так яркие,
Луна взошла — и где же светлячки?

Вон крикуны. Пришли другие дни,
Как баба снежная, растаяли они.

Живу я ненасытным и свободным,
Все мало мне стихов, плодов,

Уйду из жизни я полуголодным,
Но жизнь зато сыта по горло мной.

Как странно иль прекрасно мир

Спешил, хватал, писал, любил ее...
Все, что я взял у мира, все — чужое,
Все, что не взял, пока еще — мое.

И мы вкусили молодости, но
Уже ползет, подкрадываясь, холод.

Быть вечно молодыми не дано,
Но мир зато всегда и вечно молод.

Венец творенья — не ношу венца,
Конечен — не предчувствую конца.

Река я, но нуждаюсь в родниках,
Я море, но нуждаюсь в берегах.

Я вспоминаю давний поцелуй,
Тебе шестнадцать, мне немного

Единственный тот в жизни поцелуй,
Все остальное — суета — не больше.

О вечности не думай. Пусть строка
Сегодня чье-то сердце обогреет.

Крестьянин сеет хлеб не на века,
Но сколько уж веков крестьянин сеет!

Друзей я столько перехоронил,
У столько на краю стоял могил!

Я — кладбище, я — мавзолей, я —
Я каждого в себе похоронил.

Не страшно то, что вновь весна

Не страшно то, что жизнь почти

Печальнее всего, что вера в друга
В душе моей иссякла и прошла.

Живи, люби, чтоб не промчалось

Все, что тебе отпущено судьбой.
Мы не лоза, что зарывают в зиму
И отрывают заново весной.

В глухой стене ищущий выхода снова,
Ведь суть вещей не познана досель.

Один, на доску глядя, видит гроб

Вы, кто сидеть не хочет взаперти,
Примите пожелания поэта:

В путь уходящим — светлого пути,
В ночь уходящим — ясного рассвета.

Друзьями, городами жизнь полна.
И множество народов на планете,
Но мать одна, и жизнь у нас одна,
И ты, Таджикистан, — один на свете.

Перевел с таджикского
Владимир СОЛОУХИН.

Душанбе:



Рей БРЭДБЕРИ

РАССКАЗ

ГЕНРИХ IX

В

он он!

Оба подались вперед. От их тяжести вертолет накренился. Под ними неслась линия берега.

— Не он. Просто валун, покрытый мхом...

Пилот поднял голову, словно делая знак вертолету подняться выше, повернуться на месте и помчаться прочь. Белые скалы Дувра исчезли. Теперь внизу расстились зеленые луга, и, подобная ткацкому челноку, огромная стрекоза стала снова везд-вперед в ткани зимы, обволакивавшей лопасти.

— Стой! Вон он! Спускайся!

Вертолет начал падать вниз, трава ринулась ему навстречу. Человек, сидевший рядом с пилотом, откинул, ворча, в сторону закрепленный на шарнирах прозрачный купол и неловкими движениями, будто суставы его нуждались в смазке, спустился из кабины на землю. Побежал. Почти сразу выдохся и, замедлив бег, срывающимся голосом закричал в налетающие порывы ветра:

— Гарри!

Одетая в лохмотья фигура, поднимавшаяся вверх по склону, споткнулась, услышав его крик, и бросилась бежать, крича в ответ:

— Я не сделал ничего плохого!

— Да ведь я Сэм Уэллес, Гарри! Я не полицейский!

Убегавший от него старик сперва замедлил бег, потом, вцепившись руками в перчатки в свою длинную бороду, замер на самом краю скалы, над морем.

Сэмюэл Уэллес, лова ртом воздух, добрался до него наконец, но не дотронулся из страха, как бы тот снова не побежал.

— Гарри, черт бы тебя, дурака, побрал! Уже несколько недель прошло! Я стал бояться, что тебя не найду.

— А я, наоборот, боялся, что ты найдешь меня.

Гарри, чьи глаза были зажмурены, теперь открыл их и посмотрел испуганно на свою бороду, на свои перчатки, а потом на своего друга Сэмюэла. Два старика, седые-седые, продрогшие-продрогшие, на вершине скалы в декабрьский день. Они знали друг друга так давно, столько лет, что выражения их лиц переходили от одного к другому и обратно. Рот и глаза у них поэтому были похожи. Того и другого можно было принять за престарелых братьев. У того, правда, который вылез из вертолета, из-под темной одежды выглядывала совсем не подходящая к случаю яркая гавайская рубашка. Гарри старался не замечать ее.

Так или иначе глаза у обоих в эту минуту увлажнились.

— Гарри, я здесь, чтобы предупредить тебя.

— Это совсем не нужно. Почему ты решил, что я прячусь? Сегодня последний день?

— Да, последний.

Оба задумались.

Завтра рождество. А сейчас сочельник, вторая половина дня, и отплывают последние корабли. И Англия, этот камень в море воды и тумана, станет памятником самой себе, и его испишет своими письменами дождь и поглотит мгла. С завтрашнего дня остров перейдет в безраздельное владение чаек. А в июне — еще и миллионов бабочек-данаид, что вспорхнут и праздничными процессиями направятся к морю.

Не отрывая взгляда от берега и набегающих волн, Гарри сказал:

— Так, значит, к закату на острове не останется ни одного чертова глупого дурака?

— В общем... да.

— Ужасающе, и в общем и в частности. И ты, Сэмюэл, прилетел за мной, чтобы насильно меня увести?

— Скорее, уговорить уехать.

— Уговорить уехать? Бог с тобой, Сэм, пятьдесят лет прошло, как мы вместе, а ты меня до сих пор так и не знаешь? И тебе не приходило в голову, что даже если все покинут Британию (нет, Великобританию — так звучит лучше), я захочу остаться?

«Последний житель Великобритании, — подумал Гарри, умолкнув, — о боже, ну и слова! Будто

колокол звонит по покойнику. Будто огромным колоколом звучит сам Лондон сквозь все морозящие дожди от начала времен вплоть до этого часа, когда последние, самые последние за исключением одного-единственного покидают эту могилу целой нации, этот мазок погребальной зелени в море холодного света. Последние. Последние».

— Послушай меня, Сэмюэл. Мне могила уже выкопана. Я не хочу с ней расстаться.

— Кто же положит тебя в нее?

— Я лягу сам, когда придет время.

— А кто засыплет тебя землей?

— О чем ты говоришь, Сэм? Прах всегда засыплется новым прахом. Об этом позаботится ветер. О боже! — Это слово непроизвольно сорвалось с его уст. И он с изумлением увидел брызнувшие, вылетающие из собственных моргающих глаз слезы. — Что мы здесь делаем? Почему все прощались? Почему последние суда уплыли из Ла-Манша и улетели последние лайнеры? Куда все исчезли, Сэм? Что, что случилось?

— Все очень просто, Гарри, — тихо сказал Сэмюэл Уэллес. — У нас в Англии плохая погода. И такой она была всегда. Говорить об этом избегали, ведь тут ничего нельзя было поделать. Но теперь Англии нет. Будущее принадлежит...

Взгляды обоих обратились к югу.

— Канарским островам, черт бы их побрал!

— И островам Самоа тоже.

— Берегам Бразилии?

— Не забудь и про Калифорнию.

Оба негромко рассмеялись.

— Калифорния. О ней придумано столько всяких анекдотов. Столько смешного. И, однако, не меньше миллиона англичан рассыпано сейчас от Сакраменто до Лос-Анджелеса.

— И миллион во Флориде.

— Только за последние четыре года два миллиона перебрались к антиподам.

Называя цифры, они кивали.

— Ведь как получается, Сэмюэл, человек говорит одно. Солнце говорит другое. И человек следует тому, что кожа приказывает его крови. И кровь наконец говорит: «Юг». Она говорит это уже две тысячи лет. Но мы все это время делали вид, что не слышим. Человек, которого впервые покрыл загар, становится партнером, знает он это или нет, в новой любовной истории. И кончается тем, что он лежит, раскинув руки и ноги под огромным небом чужой страны, и обращается к слепящему свету: «Учи меня, господи, добротою своей учи!».

В благоговейном ужасе Сэмюэл Уэллес затряс головой.

— Говори, говори так и дальше, и ты захочешь поехать со мной сам.

— Нет, может быть, ты, Сэмюэл, усвоил то, чему тебя учило солнце, но я до конца усвоить это не мог. Сожалею сам. Сказать правду, остаться одному не так уж весело. Может, удастся уговорить тебя, Сэм, остаться тоже — ты да я, одна упряжка, как в детстве, а?



Грубовато и ласково он сжал локоть Сэмюэла.

— О, боже, от твоих слов у меня чувство, будто я бросаю короля и отечество.

— Для такого чувства нет оснований. Ты никого не бросаешь, ведь здесь уже никого нет. Кому бы в тысяча девятьсот восьмидесятом году, когда мы были еще мальчишками, пришлось в голову, что настанет день и, соблазненный обещанием бесконечного лета, Джон Буль растечется по далям дальним?

— Я, Гарри, всю жизнь мерзну. Слишком много лет надевал на себя слишком много свитеров, а в угольном ящике всегда было слишком мало угля. Слишком много лет видел: первый день июня, а на небе ни просвета голубизны, июль — а в нем ни одного сухого дня и ни разу не запахнет сеном, первое августа — и уже началась зима, и так год за годом. Больше не могу выносить это, Гарри, больше не могу.

— Да и не нужно. Наш народ достаточно страдался. Вы все заслужили себе безмятежную жизнь на Ямайке, в Порт-о-Пренсе или в Пасадине. Дай вон ту руку. Давай снова крепко пожмем руки друг другу! Сейчас великий исторический момент. А свидетели и участники его — только ты и я, мы с тобой.

— Что верно, то верно, клянусь богом.

— А теперь слушай, Сэм: когда ты улетишь и поселишься в Сицилии, Сиднее или в Нейл-Ориндж, штат Калифорния, расскажи об этом «моменте» журналистам. Может, про тебя напишут. А учебники истории? В них ведь тоже должно быть хотя бы полстраницы о нас с тобой, о последнем уехавшем и последнем оставшемся, разве не так? Сэм, Сэм, твои объятия ломают мне кости, оторвись же, нет-нет, не отпускай, это последняя наша потасовка.

Тяжело дыша, оба отступили друг от друга: глаза у того и другого были влажные.

— Так, Гарри, ты проводишь меня до вертолета?

— Нет. Я боюсь этой чертовой мельницы. Мысль о солнце в сегодняшний мрачный день может подхватить меня и унести с тобой вместе.

— И что в этом было бы плохого?

— Плохого? Да ведь я, Сэмюэл, должен охранять берег от вторжений. От норманнов, викингов, саксов. В грядущие годы я обойду весь остров, буду стоять в дозоре от Дувра дальше на север, у всех рифов по очереди, и через Фолкстон снова вернусь сюда.

— Скажи, дружище, а не вторгнется ли Гитлер?

— От него и его железных привидений этого вполне можно ждать.

— И как же ты будешь драться с ним, Гарри?

— Ты думаешь, я буду ходить в одиночку? Вовсе нет. По пути, возможно, я встречу на берегу Юлия Цезаря. Он любит этот берег и потому построил на нем одну или две дороги. По ним-то я и пойду, именно привидения отборных захватчиков Юлия Цезаря позаимствую для того, чтобы отразить нападения менее отборных. Ведь от меня будет зависеть, правда, накладывать на



Рисунок Петра НАУМОВА

духов заклятие или его с них снимать, выбирать или не выбирать, что мне захочется из всей проклятой истории этой страны?

— От тебя. От тебя.

Последний житель страны повернулся сперва на север, потом на запад, потом на юг.

— И когда я увижу, Сэм, что от замка здесь до маяка там все спокойно, и послушаю канонаду над заливом Ферт-оф-Форт, и обойду, заунывно играя на волынке, всю Шотландию, я в каждую предновогоднюю неделю, Сэм, буду спускаться на веслах вниз по Темзе и каждое тридцать первое декабря до конца моей жизни буду, ночной страж Лондона, я, да, я, ходить, как ходили его часы, и голосом изображать звон его старых напевных колоколов. «Лимоны и мандарины», — говорят колокола святой Катарины. Звон колоколов святой Мэри-ле-Боу. Святой Маргариты. Собора святого Павла. Ради тебя, Сэм, я буду приплясывать в воздухе и дергать за веревки, привязанные к языкам колоколов, и надеяться: может, холодный ветер отсюда долетит на юг, где теплый ветер овеивает тебя, и шевельнет хоть несколько седых волосков в твоих загорелых ушах.

— Буду прислушиваться, Гарри.

— Слушай же тогда еще! Я буду заседать в палате лордов и в палате общин и вести прения, буду терпеть поражения только для того, чтобы победить через час. И буду говорить, выступая, что до этого никогда в истории столь много людей не были обязаны столь многим столь немногим людям, и буду слышать снова голоса сирен, поющие со старых забываемых пластинок, и программы, передававшиеся по радио еще до того, как ты и я родились на свет. А за несколько секунд до наступления первого января влезу в «Биг Бен» и расположусь в нем вместе с мышами на время, пока он будет отбивать смену года. А в какое-то время, на этот счет у меня нет никаких сомнений, я воссяду на Скунский камень¹:

— Ты этого не сделаешь!

— Не сделаю? Если не на него, то, во всяком случае, на место, где он находился, пока его не отправили по почте на юг, в Бухту Лета. И вручу себе что-нибудь из декабрьского сада. А на голову себе водружу картонную корону. И назовусь другом Ричарду и Генриху, изгнанным родственником Елизаветы I и Елизаветы II. И не может ли случиться, что однажды в пустыне Вестминстера, где под ногами у тебя лежат мумия Киплинга и история, совсем состарившийся, а может, уже и сумасшедший, я, властелин и подданный одновременно, изберу себя королем этих туманных островов?

— Да, может, и кто тебя осудит?

По-медвежьи крепко Сэмюэл Уэллес обнял его снова, рывком оторвал себя и почти бегом за-

спешил к ожидающему его вертолету. На полпути остановился, обернулся и закричал:

— О боже, что мне пришло в голову! Гарри — уменьшительное от Генриха. У тебя настоящее королевское имя!

— Ты прав.

— Простишь мне, что я улетаю?

— Солнце прощает всех, Сэмюэл. Отправляйся туда, где ты ему нужен.

— Но простит ли Англия?

— Англия там, где ее народ. Я остаюсь с ее старыми костями. Ты уходишь с ее нежной плотью, Сэм, с ее прекрасной загорелой кожей и полнокровным телом — так отправляйся в путь, не задерживайся!

— Спасибо.

— Спаси бог и тебя тоже, тебя и эту яркую желтую спортивную рубашку!

И тут между ними понесся ветер, и, хотя оба кричали еще какие-то слова, ни тот, ни другой уже ничего не могли расслышать, только махали друг другу, и Сэмюэл подтянулся на руках в вертолет, и тот поднялся, мелькая лопастями, и уплыл огромным белым летним цветком.

И оставшийся, всхлипывая и рыдая, закричал вдруг в душе: «Гарри! Ты что, ненавидишь перемены? Ты против прогресса? Неужели ты не видишь причин всему этому? Не видишь, что народ перетек на самолетах и кораблях в дальние края благодаря надежде найти там хорошую погоду? Вижу, — ответил он самому себе, — вижу. Как могли они противиться искушению, если наконец прямо за окном мог оказаться вечный отныне август? Ведь это так, так!»

Он рыдал, скрежетал зубами и, стоя на самом краю обрыва, протирал руки к уже почти превратившемуся в точку вертолету и тряс кулаками.

— Изменники! Вернитесь!

Нельзя оставлять старую Англию, нельзя оставлять Пипа¹ и Железного Герцога², Трафальгарское сражение и королевскую конную гвардию под дождем, горящий Лондон, немецкие самолеты-снаряды, завывание сирен, новорожденного младенца в высоко поднятых руках на балконе дворца, и погребальный кортеж Черчилля, до сих пор следующий по улице (слышишь, человек? До сих пор!), и Юлия Цезаря, не отправившегося к своему сенату, и дикий происшествие нынешней ночью возле Стонхенджа! Оставить все это, это, это?!

На краю скалы, стоя на коленях, Гарри Смит, последний король Англии, плакал в одиночестве.

Вертолет исчез: его звали к себе острова вечного августа, где птичьими голосами поет сладость лета.

Старик обвел взглядом все вокруг и подумал: «Да ведь точно таким все это было и сто тысяч лет назад. Великая тишина и великое запустение, только теперь еще прибавились пустой скорлу-

пой стоящие города и король Генрих, Старый Гарри, Девятый».

Как слепой, он пошарил в траве, и рука его нашла мешок, в котором были сумка с книгами и шоколад, и он взвалил на плечи Библию и Шекспира, и потрепанного Джонсона, и многомудрых Диккенса, Драйдена и Попа, и вышел на дорогу, идущую вокруг всей Англии, и остановился.

Завтра — рождество. Он пожелал счастья всему миру. Обитатели его уже одарили себя солнцем. Опустевшей лежала Швеция, улетела Норвегия. Хоть бог и создал, кроме теплых краев, холодные, жить в них больше не хотел никто. Все нежилась на лучших землях господних, на этих заморских горячих песках, овеиваемые теплыми ветрами под ласковыми небесами. Борьба лишь за то, чтобы выжить, кончилась. Люди, обретя на юге, как Христос в рождество, новую жизнь, словно вернулись в свежую зелень его яслей.

Сегодня же вечером в какой-нибудь церкви он попросит прощения за то, что назвал их изменниками.

— И последнее, Гарри. Синева.

— Синева? — переспросил он себя.

— Где-то дальше по этой дороге должен быть синий мел. Ведь жители Англии когда-то натирали им себя — так?

— Синие люди, да, синие с головы до пят!

— Наши концы в наших началах, а?

Он плотней натянул на голову шапку. Ветер был холодный. Старик ощутил на губах вкус падающих снежинок.

— «Послушай, милый мальчик!»¹ — произнес он, старик, возрожденный заново к жизни, задыхавшийся от восторга, высунувшись золотым рождественским утром из воображаемого окна. — «Ты знаешь курятную лавку, через квартал отсюда, на углу?.. А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку, что висела у них в окне? Не маленькую индюшку, а большую, премированную?»

— «Она и сейчас там висит», — ответил мальчик.

— «Поди купи ее и вели принести сюда... Приведи сюда приказчика, и получишь от меня шиллинг. А если обернешься в пять минут, получишь полкроны!»

И мальчик пошел.

И, застегивая пальто, с книгами за спиной, Старый Гарри Эбинизер Скрудж Юлий Цезарь Пиквик Пип и полтысячи других зашагали по дороге в зиму. Дорога была длинная и прекрасная. Удары волн о берег звучали канонадой. Северный ветер звучал шотландской волынкой.

Через десять минут, когда он исчез, распевая, за холмом, английская земля была готова снова принять народ, который в скором историческом времени, возможно, сюда прибудет...

Перевел с английского Ростислав РЫБКИН.

¹ Древний шотландский коронационный камень; первоначально хранился в Скунском аббатстве (Шотландия).

² Персонаж из романа Чарльза Диккенса «Большие надежды».

³ Прозвище герцога Веллингтона, командовавшего английскими войсками в битве при Ватерлоо.

¹ В кавычках здесь и далее — цитаты из «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса.

...ВКОНЕЦ ОБАЛДЕВ ОТ ЦЕПНОГО ТЮМЕНСКОГО
МОРОЗА, МНОГОЭТАЖНОСТИ ВЫРАЖЕНИЙ
МАСТЕРА
И ВДРУГ НАХЛЫНУВШЕГО РАЗОЧАРОВАНИЯ В
ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, МАЛЯР-ШТУКАТУР ВИЛЯ Ш.
ВОЗВРАТИЛАСЬ С РАБОТЫ, СНЯЛА ПУДОВУЮ
РУКАВИЦУ И ВИХЛЯЮЩИМ ПОЧЕРКОМ
ВЫВЕЛА:
«ВСЕ. БОЛЬШЕ НЕ МОГУ.
КАЖЕТСЯ, Я СХОЖУ С УМА!»
ОБЛЕГЧИВ ДУШУ, СПРЯТАЛА ДНЕВНИК
ПОД МАТРАЦ И УШЛА В МАГАЗИН.

ИЗ РЯДА— ВОН!

Андрей КОНСТАНТИНОВ

Соседка по вагончику, крупная интеллигентка и знаток вскрывания чужих писем, тут же достала подматрачное откровение и с истошным воплем «Режутт!» вылетела поделиться новостью с коллективом.

Бригада с честью выдержала грустную весть. Тем более, подозрения в чокнутости подруги возникли с первого дня ее работы.

Замбригадира еще тогда с точностью Склифосовского определила:

— А у новенькой, кажись, шарики за ролики зашли.

Виля Ш. не материлась, а это, согласитесь, давало почву.

Однажды обозвала фронт работ обозом работ, тем самым противопоставив себя массам.

Не красилась! То есть абсолютно! Представляете?

Пишет по ночам. Что, неизвестно. И теперь вот вовсе разоблачила свое черное нутро.

— Ну, тогда понятно! — обрадовался коллектив. — Значит, чиканулась совсем. Придется принимать меры предосторожности.

Дальше события помчались с сумасшедшей, паранойяльной скоростью.

Соседка переехала в другой вагончик.

Стоило Виле Ш. взяться за кирпич, бригада, которая дом и семья, вскакивала с мест, крича:

— Не вздумай, припадочная. А ну, брось оружие!

Внутренне цепenea, бледная Виля Ш. искала защиты у начальника управления.

— Я нормальная! Я в здравии! Кто им позволил читать чужие записки?

Начальник управления, пряча на всякий случай тяжелые предметы со стола, максимально ласково отвечал:

— Успокойся. Ты самая нормальная. Ты в здравии. А вот я — нет. Прямо в сумеречное состояние впадаю, особенно когда раствора нет. И, чтобы доказать твою абсолютную здоровость, ступай к невропатологу. Мировой специалист. Резиновым молоточком стук — и ты уже не душевнобольная. То есть у меня душа не болит.

Делать нечего. Под напором здоровой общественности Виля Ш. отправляется к невропатологу. Который признает ее полностью годной как к труду, так и к обороне от товарищей.

— Поздравляю — поздравляю-поздравляю! — излучая радость, пожал руку начальник. — Мы именно так и предполагали. Теперь нужно на повторное обследование, в область. Там электроника вмиг определит, есть у тебя заскок или нет. Получишь формулярную справку. Соберем общее собрание. Объявим, что ты не ду... Я вот думаю, Кай Юлий Цезарь не твой брательник случайно?

«Как быть, уважаемая редакция? Неужели и правда мне ехать за справкой в область?» — написала маляр-штукатур Виля Ш.

Отвечаю: ехать! Обязательно ехать! Врачам объяснить: мол, наша комплексная бригада считает меня умственно недостаточной для выполнения возложенных задач. Прошу оформить официальное подтверждение коллективной мысли или квалифицированное опровержение.

Ехать — хотя бы потому, что со справкой всегда спокойнее, чем без справки. Тебя только собираются в чем-нибудь эдаком обвинить, а ты уже бумагу на стол: не был, не состоял, не участвовал, не привлекался. Это раз.

Во-вторых, сегодня не поедешь — завтра на коленях поползешь, и все равно поздно будет. Ведь если коллектив очень захочет, то он заставит признать и Кая Юлия Цезаря родным братом, и Наполеона Бонапарта кузеном, и Мефистофеля отчимом по материнской линии.

В-третьих, сама виновата. Не красилась, не материлась, и еще на чем-то настаивает, намекает на человеческое достоинство. Нет чтобы сразу этак покомпанейски размять «беломорину» в крутых пальцах, прикурить от электросварки, хлобыстнуть стакан фиолетового портвейна «Розовый» и жить как все, имея уважение и вид на тринадцатую зарплату...

Это очень важно — быть как все. Улыбаться улыбкой миллионов. Но-

сать одежду, не выделяясь. Входить в монастырь с уже усвоенным чужим уставом.

Это очень важно — сделаться чем-то вроде воды в умывальнике. Повернули кран, следовательно, пора изливаться. Шуметь. Издавать бодрое плескание. Закрыли — замри, утишься, сгинь.

Обязательно нужно принимать обличье штампа, иначе есть риск прослыть большим оригиналом. А от оригинала до чокнутого — один шаг. И никакая справка не поможет.

Административно-командные методы пустили по миру идеологию серятины.

В искусстве живописи — это выставки без цвета и запаха. В кино — сплошная игра воображения. От и до. В еде — комплексные обеды, обладающие калорийностью юбилейных выставок. На работе — единоначалие. На собраниях — единогласие. В одежде — единообразие.

В нынешнем году начальница канцелярии Министерства просвещения РСФСР сделала поразительное открытие.

Оказывается, все дело в штанах! Оказывается, отдельные несознательные граждане напяливают эти предметы явно мужского туалета и имеют наглость в таком виде заявляться на службу.

Вернее, на какую уж там службу — на дезорганизацию. Ибо откуда взяться созидательному процессу, когда вдруг баба — и в брюках?

О своем открытии начальница канцелярии доложила руководству, и через некоторое время вахтер в золотых лампадах лично отгонял от ворот имевших наглость не выполнить распоряжение.

Беспорочная логика пронизательной начальницы элементарна, словно пифагоровы штаны.

Демократичные брюки не гармонировали с голубыми пузатыми вазами у входа. С помпезным бюро пропусков. С медными дверными ручками.

Иными словами, одежда не возвышала служащего над брэнностью протекавшей жизни. Не внушала коленопреклонения.

И человека подтянули до требуемого обстановкой стиля. А еще говорят: не для мебели сидят люди во многих министерствах!

Мы слишком многое хотели решить числом там, где требовалось умение.

Рисунок Олега ТЕСЛЕРА



Мы звали человека вперед, уравнивая в зарплате и героя, и бездельника.

Мы говорили со всех трибун о необходимости творчества, одновременно замуровывая сотни тысяч рацпредложений. Мы глушили инициативу, хороня ее в пышных приемах и грохоте аплодисментов.

Мы норовили подстричь всех под одну гребенку, не задумываясь о том, что с волосами спрямляем и мозговые извилины.

И вот радуйтесь, сограждане и друзья! Торжествуйте, поборники командно-приказных методов!

Под вашим неусыпным вниманием. В типовом доме. Окруженный стандартной мебелью. Воспитанный на фильмах без вкуса и запаха, проклюнулся особый вид человека. Гомо сапиенс под инвентарным номером. Теплокровный робот. Ходячая копия бумажная бумага. Прикажете смеяться — засмеется. Велите всплакнуть — всплакнет.

Он чужд всех этих темных хэви-металлистов, переоценщиков и меланхоликов, раздумывающих над смыслом жизни, благословляя для себя только две вещи: расположение начальства и еще раз расположение начальства.

О, не волнуйтесь, он не высунется из окошка, не встрянет в драку и не заведет дневник. Он знает твердо: в окна лезут только чокнутые. Дневники — забава ненормальных. Встретают в конфликт умалишенные.

Его автобиография уместается на страничке, и, если бы можно изложить ее только цифрами, то выглядела бы она так:

«Я, имярек, живу в квартире № 87. На службу езжу трамваем 35. Сегодня получаю 200, а завтра стану — 230. Стаж 10 лет. Три грамоты, ни одного прогула. На службе числюсь в кабинете 48.

Все».

Увидев рядом не себе подобного, он стервенеет от непохожести. Он или они засовывают два пальца в рот и под свист требуют справку от невропатолога.

Перестройку они наблюдают со стороны — в промежутке между футболом и «Утренней почтой» по телевизору. Ускорение понимают в смысле побыстрее удрать домой.

Все происшедшее за эти два года в нашей жизни отлилось у них в две фразы:

— С этой вашей демократией мы еще неизвестно до чего можем дожить!

— Ну и выбрали нового директора, а дальше? Завод-то стал работать хуже!

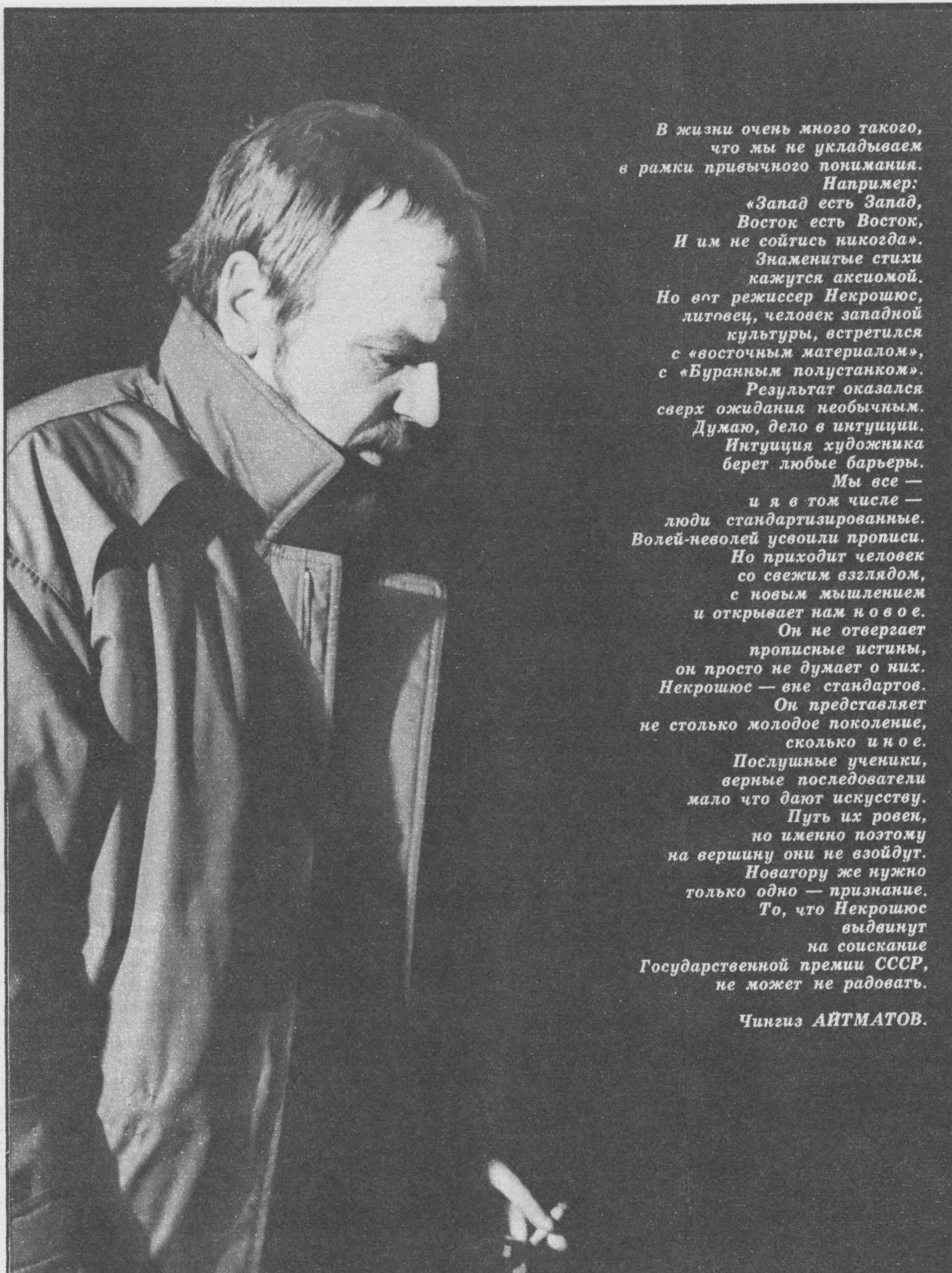
На чем основаны глубочайшие выводы? Ответа нет. Хуже, и все.

Но в русле наблюдаемого, при предложении устроить перевыборы они немедленно сотворяют из ладошек нечто вроде заборчика:

— Наш коллектив еще не дорос до того уровня, чтобы выборы проводить.

А то вырвутся все вдруг из коротких штанишек единоначалия, и начнется черт-те что. На работу — в брюках. Директора — переизбрать. Дневники писать. То есть сплошной кошмар и потрясение основ.

И, устав от всего этого непонятного движения мысли, вспоминают он или она те чудные времена, когда коллектив не бредил несуразностями, а все как один готовились к празднованию золотого юбилея своего любимого заведующего сектором. Как в зале заседаний накрывались столы, резалась, издавая пикантные запахи, себрюжка холодного копчения. Летели в потолок пробки от шампанского. И в воздухе носилась такая удивительная атмосфера, что даже если садился начальник верхом на своего подчиненного, тому от взнуздания становилось только приятно...



В жизни очень много такого,
что мы не укладываем
в рамки привычного понимания.

Например:
«Запад есть Запад,
Восток есть Восток,
И им не сойтись никогда».
Знаменитые стихи
кажутся аксиомой.
Но вот режиссер Некрошюс,
литовец, человек западной
культуры, встретился
с «восточным материалом»,
с «Буранным полустанком».
Результат оказался
сверх ожидания необычным.
Думаю, дело в интуиции.
Интуиция художника
берет любые барьеры.
Мы все —
и я в том числе —
люди стандартизированные.
Волей-неволей усвоили прописи.
Но приходит человек
со свежим взглядом,
с новым мышлением
и открывает нам н о в о е.
Он не отвергает
прописные истины,
он просто не думает о них.
Некрошюс — вне стандартов.
Он представляет
не столько молодое поколение,
сколько н о в о е.
Послушные ученики,
верные последователи
мало что дают искусству.
Путь их ровен,
но именно поэтому
на вершину они не взойдут.
Новатору же нужно
только одно — признание.
То, что Некрошюс
выдвигает
на соискание
Государственной премии СССР,
не может не радовать.

Чингиз АЙТМАТОВ.

АВАНСЦЕНА

по Направлению к Некрошюсу

Э

ймунтас Некрошюс — режиссер. Работает в Вильнюсе. В молодежном театре. Он ставит там гениальные спектакли.

Еще недавно я думал, что должен убедить всех съездить в Вильнюс, посмотреть хоть один спектакль Некрошюса.

Больше я так не думаю.

И никого не хочу убеждать.

Зачем навязывать? Надо рассказать. А дальше пусть каждый сам решает.

...Пиромани сполз по стене и остался неподвижно сидеть в углу. Вернулся Сторож. Увидел... Нельзя передать, что с ним стало. Как смотрел он на свое божество — единственного, кто не гнал, не издевался над ним, немой и немножко сумасшедшим, на единственного, кто любил и заботился. А теперь — ушел. Сторож поднял Пиромани и, покачивая, повел к весам. Усадил на платформу весов. Ноги сползли. Скуля, старик снова уложил их на весы. Все так хорошо, так красиво устроил. И Пиромани оказался на весах. И старик надел на стержень гирьку и взвесил Пиромани... Ну, и сколько весит умерший с голоду гений? Мало. К весам была привязана веревка. Скулящий, как раздавленная собака, старик впрягся, рванул, стронул и поволок. Странно, как-то боком сидящий на весах, уезжал Пиромани от нас. Блаженный плакал, тянул веревку, весы медленно уезжали за кулисы.

Свет медленно гас. Гений покидал сцену, но лицо его вопреки логике все время было обращено к нам. Мертвец поворачивал голову, и глаза его, кажется, и в полной тьме все не отпускали наши души.

Как объяснить? Как истолковать?

Что толку спрашивать: как? почему?

Может быть, художник привык пристально, не мигая вглядываться в мир. Сколь бы ни был мир ужасен, художник не имеет права зажмуриться или бросить робкий взгляд искоса. Что бы ни было — лицом к лицу! Это профессия. Да, мертвец, уезжая на весах, поворачивал голову. Возможно, это мужество взгляда в упор, эта привычка, эта профессия не покинули художника и после смерти.

Как работает Некрошюс? На такие вопросы он не отвечает.

Прежде я думал, что он просто молчун. Типичный замкнутый литовец, не очень-то склонный открывничать на неродном языке.

Теперь мне кажется, что он, возможно, и сам не знает ответа.

Как анализировать спектакли Некрошюса?.. А лучше спрошу: надо ли?

Заменят ли симфонию Бетховена ученые слова музыковеда? А тому, кто слышал музыку Бетховена, не очень-то нужны слова о ней.

В детстве интересовался: что внутри у чудесной игрушки? А результаты исследования бросали в помойное ведро. «Сломал — нечего плакать».

Театр, кажется, самое уязвимое искусство. Картина на холсте, музыка на пластинке, фильм на пленке — они практически вечны. А спектакль? На полку не положишь. Через сто лет не покажешь. Не размножишь. Не сфотографируешь. И ТВ не спасает, даже если отснимет спектакль. Театр — живое. Спектакли Некрошюса надо смотреть так же, как слушают музыку. Надо чувствовать. Надо понимать сердцем. Ведь он говорит на таком ясном языке. Явление Некрошюса вселяет некую надежду. Но лучше б ему было 25, а не 35. Я жду двадцатипятилетнего гения, ибо он докажет самим появлением своим, что источник не иссяк, что река не ушла в песок после непрерывных хищнических рубок.

Мы склонны идеализировать. Гений?! — ура! И начинаем создавать ангела, чуждого всему земному, не ведающего соблазнов, пороков, страстей... Стоп! А откуда же тут возьмется художник? Ангелы-то творцами не были никогда.

Я уже приложил руку к лепке «ангела». А Некрошюс, увы, человек. «Увы» потому, что он может погибнуть от наших похвал. Скольких мы уже видели: все прошедших, все превозмогших — и погибших от медных труб. Для Некрошюса сегодня это самая реальная угроза.

В спектакле Некрошюса «Квадрат» (по мотивам рассказа В. Елисеевой) заключенный, отбывающий большой срок, влюбляется по переписке. Эпистолярный роман с молодой учительницей длится долго. И вот она приезжает. Никогда прежде они

На сцене —
живые персонажи картин Пиромани.



не видели друг друга. Первое очное свидание. Она робко входит в камеру. Сейчас они будут знакомиться. Впервые заговорят... Нет, мужчина молча бросается на нее. Она в ужасе отскакивает, сжимается от страха. А он — в отчаянии. Он все испортил! Напугал! Доверие, завоеванное годами переписки, рухнуло в один миг. Все погибло... В растерянности, сам не сознавая, что делает, он начинает грызть кусок сахара. И вдруг, повинувшись безотчетному импульсу, другой кусок протягивает ей. Она отшатывается — ею все еще владеет дикий страх. Тогда он кладет сахар на нары и медленно подталкивает его как можно ближе к ней. И — отходит. О чем она думает? Неизвестно, но — дотянулась до сахара и сунула его в рот. От голода? От растерянности? Или от того, что, взяв сахар, ничего другого не остается? Неважно. Все равно это победа! Следующий кусочек он кладет чуть ближе к себе. Следующий — еще ближе. Ей уже приходится сделать шаг к нему. Вряд ли ей хочется есть третий кусок, но она уже поняла, как спасительна эта игра, и не хочет ее разрушить. Он кладет следующий кусок, но руки уже не отнимает. Он как бы придерживает сахар. Она протягивает руку — и вот их пальцы, наконец, встретились. Они счастливо смеются. И мы счастливы тоже. Так просто, наглядно и совсем без слов нам показали приручение.

Вероятно, любой режиссер счел бы «сахарную тему» исчерпанной и был бы заслуженно доволен собой. Здесь же последовало неожиданное. Мужчина достал еще кусок сахара, положил на табурет и сказал:

— Это — понедельник.

Достал еще.

— Это — вторник.

Еще.

— Это — среда. Это — четверг.

Достав следующий кусок, он помедлил:

— По пятницам сахара не бывает. Это — суббота.

И стал доставать все новые куски.

— Это — воскресенье. Это — понедельник. Это — вторник...

Он выкладывал сладкое, но в голосе его, но в душе у нас росла горечь: вот чем мерились его дни — кусочком тюремного сахара.

И любой режиссер был бы вправе гордиться собой. Но последовало невыносимое.

Он уже доставал сахар горстями:

— Это — март. Это — апрель. Это — май... — Он уже сыпал пригоршнями ей на голову:

— Это — июнь. Это — июль. Это — август...

Он доставал сахар из холщового мешочка, прижатого к низу живота, — казалось, он достает из себя потроха.

— Это — сентябрь. Это — октябрь... Все мои дни — тебе. Все мои годы — тебе!

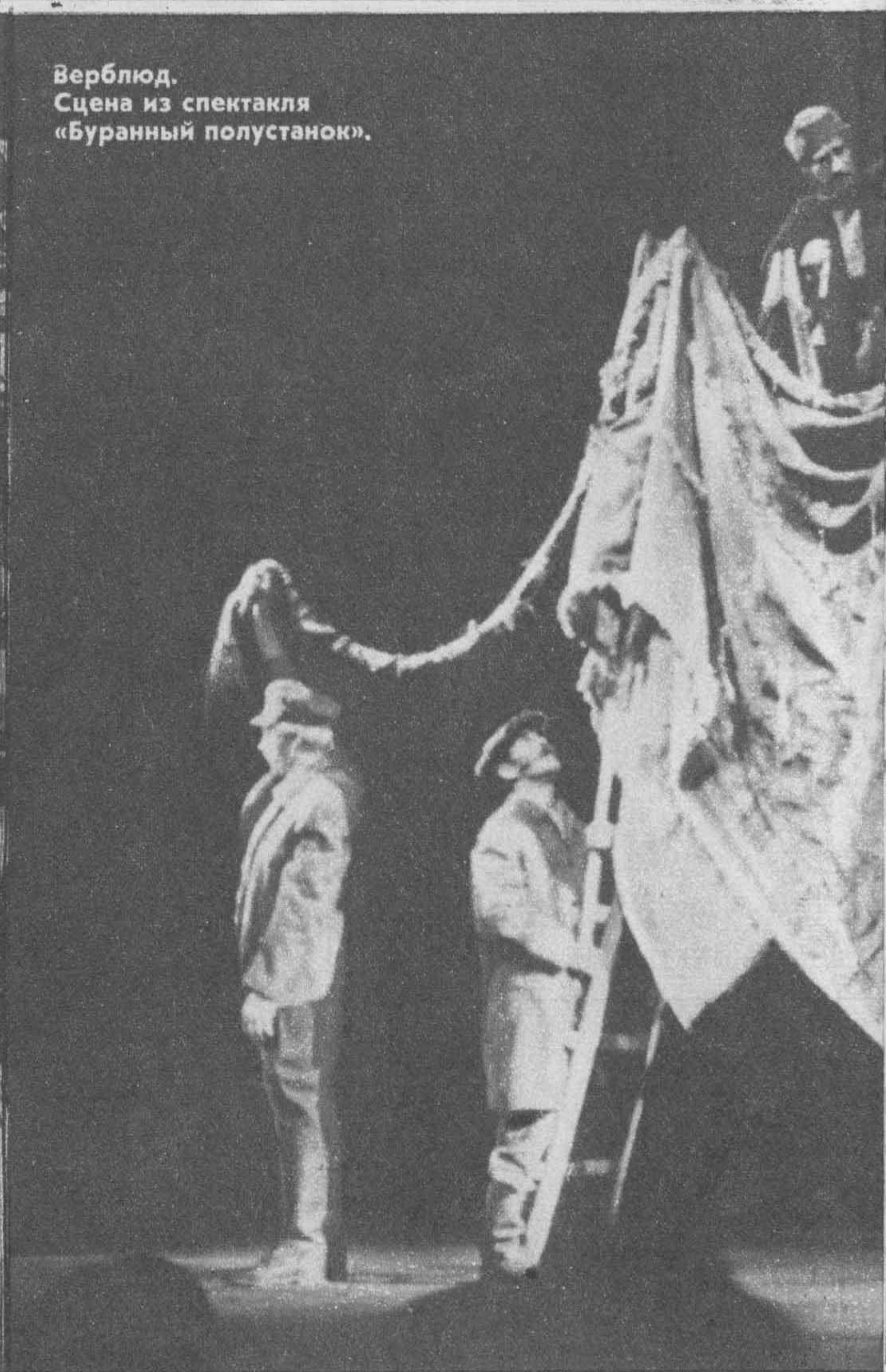
Он сыпал ее сахаром своей горькой жизни. Куски скатывались по волосам, по плечам, сыпались на пол... Что это было? Фата из сахара? Какой-то жуткий свадебный обряд?

Что бы ни было — горький комок стоял в горле. Как соединил режиссер эти сладость и горечь, смех и слезы, абсолютно театральный вымысел и больно сжавшую сердце правду?

Как? Кто его знает. Весь спектакль такой.

Почти без слов. Насквозь театральный. И пугающе честный.

Верблюды.
Сцена из спектакля
«Буранный полустанок».



Редчайшая самобытность. Ни к какой «школе» его не причислишь. Он, конечно, учился (у Гончарова)... Скорее, он обучился не в ГИТИСе, а в процессе работы. Обучился в театре. У актеров, у собственных ошибок... Это — догадки.

Откуда что берется? — вот вопрос крайне важный сегодня.

Постоянно приходится слышать, как наше время сравнивают с серединой 50-х. Спорят: когда радикальнее были реформы, когда решительней поворот?

А ведь мы сами стали совсем иными.

Отсутствие поэтов — вот что бросается в глаза. Прошло два года с апреля 1985 года, а мы не обрели Поэта. Тогда, после марта 1953-го, дело шло куда быстрее. Вскоре — плеяда: Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина... Это был поэтический взрыв. Серьезная, подчеркиваю, серьезная поэзия собирала аудитории, на которые сегодня может рассчитывать только Пугачева или заезжая рок-группа. Шли на стихи. Лужники битком. Имена поэтов — у всех на устах. Читали друг другу. Учили наизусть.

Стоп! А почему только поэзия? А музыка? А кино?

Факты внезапно выстроились в систему.

Музыка: Шнитке, Денисов, Губайдулина, Канчели.

Кино: Тарковский, Климов, Герман.

Театр: Эфрос, Ефремов.

Всем им тогда было 20—30 лет.

Прошло тридцать.

Но чьи произведения лидируют? Их!

Евтушенко радовался тогда?

«Пришли иные времена,

взошли иные имена» —

и в конце философствовал:

«Придут иные времена,

Взойдут иные имена».

К сожалению, пришли иные времена, взошли былые имена.

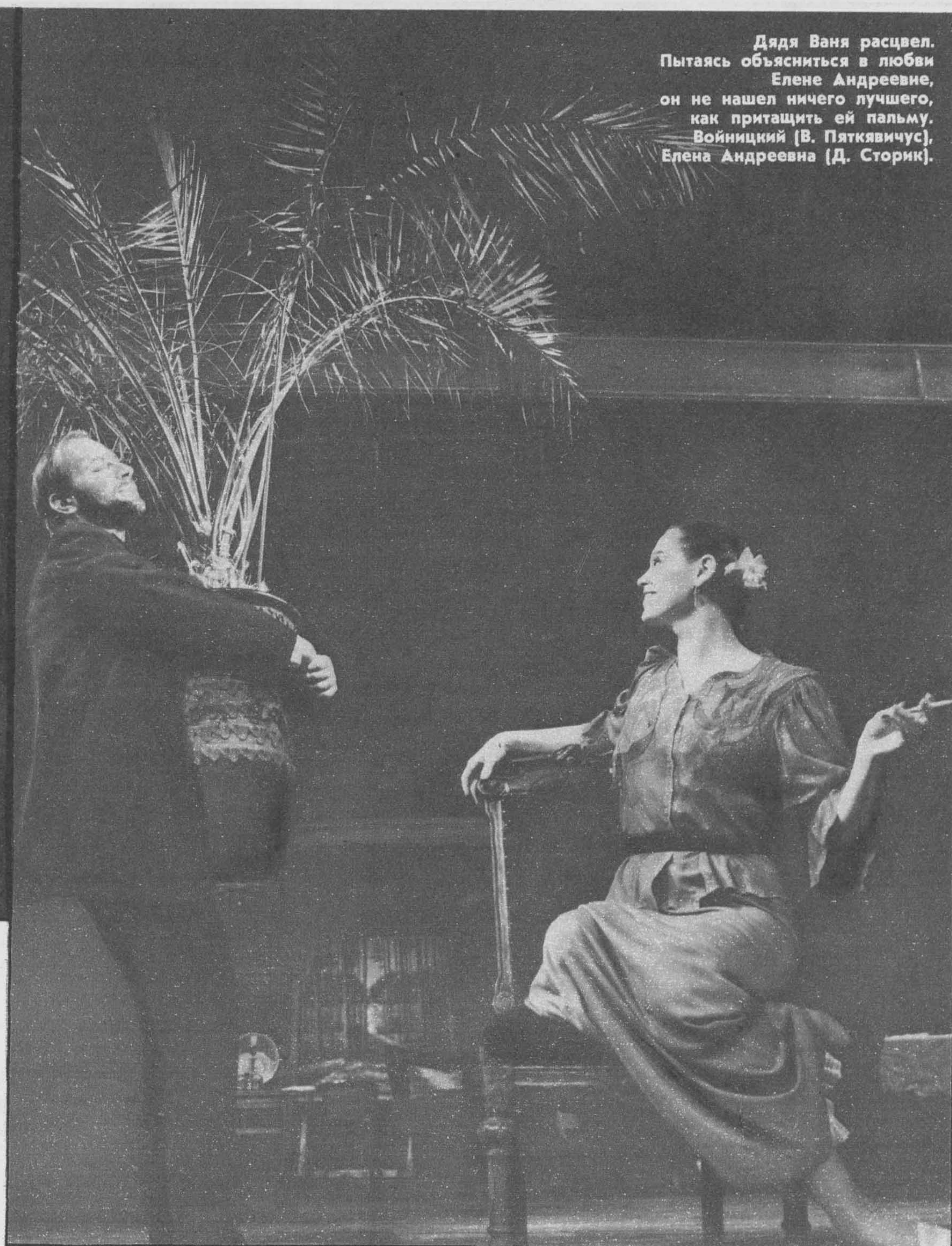
Кто владеет умами, сердцами? Все те же.

Да и то иные уже не по вдохновению, а по номенклатуре, не по страсти, а по инерции. У них те самые посты, премии, дачи, которые — как они прежде думали — исключают поэзию.

А новые — где?!

Их так катастрофически нет, что приходится жульничать ради наличия «творческой молодежи».

Когда-то ценз в тридцать лет вызывал улыбку: что ж это за молодежь, из комсомола по возрасту выбывшая?



Дядя Ваня расцвел.
Пытаясь объяснить в любви
Елене Андреевне,
он не нашел ничего лучшего,
как притащить ей пальму.
Войничий (В. Пятквичус),
Елена Андреевна (Д. Сторик).

Потом и таких не стало. Подняли до тридцати пяти.

А сегодня, не стыдясь и не краснея, в Министерстве культуры решили, что отныне «молодым» считается режиссер в сорок лет.

Зачем? А затем, что иначе невозможно набрать участников для Всесоюзного фестиваля молодых спектаклей. И надо-то всего двадцать работ. Так во всем Союзе ССР не нашлось двадцати молодых (до 35 включительно), поставивших сколько-нибудь удачные спектакли. А завтра? 30, 35, 40—так, набрасывая по «пятачку», мы скоро обретем замечательную и очень творческую молодежь в лице Окуджавы, Абуладзе...

В чем же дело? Где те, по-настоящему молодые, голос которых мы должны были услышать сразу после апреля 1985-го? Где новые?

Нет их. Увы.

Печально, но это закономерно.

Что произошло в середине 50-х? Рухнул кумир. Обнажилась ложь славословий.

Но идеалы остались — вот что важно. Но вера в себя у молодых и незапятнанных — осталась. Они все равно были гражданами великой страны. Спасителями мира от фашизма. Ведь их от Победы отделяло всего лишь десять лет. Они были ее участники. Прямые, как Окуджава. Или косвенные — голодухой, сиротством, работой в тылу. Огонь Великой войны очищал и закалял их души с детства.

Освободившись от наваждения, они воспарили. Как эти люди позволили стране опять сползти в сплошную ложь — загадка.

В середине 80-х рушиться было нечему.

А что же молодежь, в том числе и «творческая»?

Кто отразил это безвременье? Трифонов, Искандер... Где новые книги, новые стихи? Почему молодые не писали «в стол»? Трусость? Не только.

Они выросли в этом. Росток, искривляясь, огибает придавивший камень, и эта кривизна для него — норма.

Отсутствие книг, отразивших 70-е, есть отражение 70-х. То, что комсомол оказался консервативнее Госплана, есть отражение внутреннего мира молодых.

1956-й вознес идеалистов.

1986-й обнажил циников.

Из циников не выходят поэты. Разве что пародисты.

На чем можно было воспитать идеалы, веру в добро, когда все вплоть до народного суда разъела коррупция?

И не осознав, не приняв все это, не сказав вслух всей правды о себе — нет пути к перестройке сознания. А без нее — ничего не перестроится.

Теперь мы слишком нуждаемся в очищении. От лжи, от двоедушия, которое, как радиация, вьедается в кости и не выводится, накапливается в организме, и особенно опасно для детей.

Нам не за что винить молодых — вялых и инфантильных. Их малокровная музахватила слишком большую дозу.

Нам повезло. Были Поэты, Композиторы, Режиссеры, которые сделали искусство пятидесятых и продолжали делать его потом. Они не ждали свободы, ибо имели ее внутри себя. Они снимали фильмы и клали их на полку. Писали стихи и романы в стол. Пели песни у домашнего микрофона...

И чем сегодня украшены журналы? — вынутым из столов! Чем гордится кино? — снятым с полки! Чем похвастается ТВ? — Высоцким!

Появился сегодня Поэт — вряд ли он соберет Лужники. Вряд ли прекрасными стихами притянет поклонников рока и брейка, вряд ли уловит нищие души фанатов и панков.

Вот потому-то меня так интересует феномен Некрошюса. Ведь он как режиссер появился в конце семидесятых.

Вот почему я спрашиваю: откуда что берется?

Ах, если б ему было не 35, а 25 лет! Если б он был родом не с литовского хутора, а из безликой московской новостройки! Тогда бы можно было уверенно сказать: на истинный талант не влияет среда. А так — увы — наличие в искусстве Некрошюса вряд ли опровергает предыдущие размышления.

Упрямство, упорство — без этих строптивых верблюдьих качеств не возникли б его спектакли. На каждый уходил чуть ли не год.

Спектакли Некрошюса с трудом поддаются описанию.

Слишком объемны. Слишком немногословны. Молчаливы.

Чем меньше слов в произведении, тем труднее его описать.

Некрошюс переводит текст на язык сцены. Он творит на сцене живой и объемный мир.

А текст отбрасывает, как выжатый тюбик краски.

Краски на картине смешаны. Уже не разделишь, по тюбикам не рассудишь.

В романе Айтматова «Буранный полустанок» 400 страниц.

В инсценировке — 30.

Кричат, обвиняют (надо же в чем-то обвинять) в пренебрежении к слову. А разве он ставит для слепых? Разве мало в наших театрах «радиоспектаклей», где все с выражением произносят заученный текст и для оживления переходят на деревянные ноги от стола к дивану? Закрой глаза — ничего не потеряешь. Что ж, похвалим артистов за «бережное отношение к тексту» и, пожалуй, останемся дома. Читать мы и сами умеем.

И опять — никого не уговариваю. Каждый волен решать для себя. Для кого «Герника» Пикассо — воплощенный ужас войны, а дикая, немислимая лампа в центре — предсказание атомной бомбы; для кого — восьмиметровый формалистический выверт, а о войне в Испании надо читать в энциклопедии.

В романе описаны Елизаров, Казангап. В спектакле их нет.

В романе авианосцы, космонавты, чужая галактика... На сцене ничего этого нет.

Я составил длинный список. Прочтешь — подумаешь: что же осталось от романа? Остался дух. Осталась идея, которую Некрошюс сумел выразить ярче и сильнее.

...Надо хоронить старого друга. Убитый горем Едигей вгоняет гвозди в кусок доски. Что он сколачивает? — непонятно. Ссорятся дети покойного Казангапа — где хоронить: рядом или на далеком родовом кладбище? Цивилизовавшийся сынок в «модном», но досадно великоватом пальто просвещает невежественных жителей крошечного разъезда Боранлы-Буранный. Здесь, посреди плоской, бесконечной Азии, рассказ о том, как всеми нами, всеми нашими желаниями скоро будут управлять по радио «из центра», звучит дико, смешно и страшно. И как звучит! — с гордостью за науку... Едигей не слышит. Он вбивает и вбивает гвозди, изредка смахивая мешающую слезу. А потом Казангапа уложат в гроб... Нет, это не гроб — это, скорее, некий скелет гроба, связанный из прутьев и палочек. Ну, конечно! — это же пустыня, тут и кустарник — редкость. И не Казангап. В гроб кладут мундир железноружника. В скелет гроба — оболочку с блестящими пуговицами. Ну, конечно! — ведь Казангапа нет, умер. А что осталось? — вот это и осталось от долгой честной жизни: казенные фуражка, китель... И процессия тронулась, и вместо подушек с орденами за гробом несли два страшных башмака. Тяжеленные, разбитые, грубые башмаки путейца. А впереди странная доска со сверкающими цифрами: 1901—1979. А, понятно — это даты жизни... Но почему так ключоце сверкают? Это — гвозди! Вбитые один к одному, гвозди прошли доску насквозь, и их острия жуткой железной щетиной образовали цифры.

Это память — острая, ранящая мозг, рвущая душу. Это боль. К ней нельзя прикоснуться — раздерет в кровь.

— Скелет гроба? Пустой мундир? Какие-то гвозди? Так не бывает. Так не делают! Так нельзя! Что за шутки?!

Конечно. Вы правы. Извините. Больше не будем. Не сердитесь. Это в последний раз. Простите. Больше не повторится.

... Но забыть эту орущую доску, эти рыдающие гвозди — нельзя.

Память — мать муз.

Память ошетижилась гвоздями — сверкающая, ранящая, не дающая покоя...

— Ну, хватит-хватит, не надо экзальтации, преувеличений.

Конечно. Вы правы. Приучились, притерпелись и спим на доске с гвоздями, не думая, не чувствуя колющего ужаса. Стали аморфны — легко принимаем любую форму. Как ни мни пластин — не треснет. Как ни втыкай гвозди в кисель — не беспокоит.

...И оттого память все бесплоднее. И музы — все худосочнее.

В романе гроб везут на тракторе, могилу роют экскаватором.

В спектакле машин и механизмов нет.

Гроб везут на верблюде.

Можно, конечно, описать, как четыре человека с толстой разлохмаченной веревкой изображают верблюда. Но опять получится «журчанье ручейка в анданте» — пустые слова. А верблюд живой. Пьет воду, бунтует, утешает Едигея, даже имеет «выражение лица». Не то что тоскливые ходячие зоосадовские чучела.

Гроб на верблюде. Гроб из палочек, легкий... Но какая же это невыносимая, стопудовая тяжесть, какая невыполнимая работа — похоронить друга. Похоронишь прах, а с памятью как быть? И что понесло в бессмысленный далекий путь? Какая разница — где зарыть? Нет, Едигей упорно хромает по пустыне. Долгий путь — возможность продлить прощание. Где-то там родовое кладбище. Обетованная земля предков. Ею, только ею засыпать друга... Память. Вера. Долг...

...Финал романа мало кто помнит. Едигей отправляется в город кого-то о чем-то просить...

Едигей, хромая, выходит на пустую сцену. Он тащит на себе все: гроб, сундук с песком священного Арала, лопату. Он сам превратился в упорного терпеливого верблюда. Жизнь позади. Он пересек пустыню. Он дошел.

Но лопата не берет, отскакивает. Родовая залита бетоном. Обетованную заняла запретная зона.

Едигей один. Он прощается с другом. Но нет ямы. Похоронить — значит забыть. Забывают манкурты.

Режиссер не дал закопать. Убрал могилу — символ забвения. Оставил гроб на земле. Памятник из прутьев и палочек.

Сидя возле мертвого друга, Едигей произносит свою первую и последнюю речь, обращенную к небу и к людям, к мертвым и к живым. Финальную сцену режиссер отдал слову. И тут сказано все.

До конца...

Да, Едигей больше не встанет. Он сказал все, что хотел. Сделал все, что мог. Свет меркнет.

За головой умолкшего человека прутья гробовой крышки в тускнеющем мареве кажутся то ли нимбом, то ли терновым венцом.

Умер.

Это не произвол режиссера. Это последовательность. Это верность автору и избранному жанру. У трагедий не бывает ни счастливых концов, ни открытых финалов.

Герой должен погибнуть. Это закон даже для самой оптимистической трагедии.

Герои погибают. Дело не в жестокости авторов или режиссеров. Герои погибают, чтобы мы не забыли их никогда.

«Открыли» Некрошюса в 1982-м. На I фестивале молодежных спектаклей в Тбилиси «Пиромани...» произвел сенсацию.

Следующей сенсацией стало отсутствие Некрошюса на II фестивале в 1985-м. Почему не привезли «И дольше века...»? — вопрос звучал и в кулуарах, и с трибун.

В мае в Тбилиси III фестиваль молодежных спектаклей открыл «Дядя Ваня» — последняя работа Некрошюса.

На Западе нередко ставят Чехова — «о русских». И даже — «о советских». Двойная ошибка. Обеднение, сужение Чехова, а он — всемирный. Кроме того, никогда не создашь Искусства «о чужом». Только о себе, о своей боли думая, о своем несовершенстве скорбя. А «о чужом» — это музей, этнография, экзотика. Да, любопытно, познавательно, но ведь в музеях не плачут. Если на сцене скрупулезно и не жалея средств воссоздадут пейзаж, интерьер и костюм средневековой Дании, а душа Принца не возникнет, я вслед за ним и с полным правом спрошу: что мне Гекуба, чтоб над ней рыдать?

У нас — свое. Многие слишком вульгарно понимают слова «классика всегда современен». Хотят во что бы то ни стало сделать Чехова актуальным, даже злободневным. То выпячиваются социальные утопии Пети Трофимова, то главным становится гимн труду Тузенбаха... Что до «Дяди Вани», то здесь есть чрезвычайно соблазнительное, прямо-таки провоцирующее на злободневность место. Именно: рассказ Астрова о том, как вырубается леса, мелеют реки, истребляются животные. Да еще он деревья сажает! Экология! Острейшая современная проблема. И вот Астров на авансцене. С гневом и болью обращает он прямо к публике свои пророчества. А публика горячо принимает эти слова, сочувствует и изумляется: надо же — Чехов! Сто лет назад писал, а как современно.

Но это уже не театр. Скорее, экологический симпозиум. И это уже не Астров, а докладчик. И это — не Чехов. Ибо Чехов не об экологии писал, а о людях. Астров в этой сцене отнюдь не на трибуне. Он страстно увлечен красивой женщиной, чудом попавшей в его захолустье. Экология — предлог. Все мысли Астрова — о Елене, близкой, но пока недоступной...

Мужчина соблазняет женщину. Так ли уж важно, что он при этом говорит? Важно — как. Интонации, взгляды, паузы, дыхание... Не формальная логика, а знаменитый чеховский подтекст, позволяющий заглянуть в подсознание.

А чтобы у нас не было сомнений в сути происходящего, чтобы показать незначительность «экологического предлога», Некрошюс насмешливо и буквально уменьшает предмет беседы. Все Астровы в мире гордо развешивали перед Еленой некое школьное наглядное пособие — карту уезда. Этот Астров пинцетом достает из альбома клочок с почтовую марку. (Публика маленькой Литвы вполне оценивает шутку). Ах, как близко надо сидеть, чтобы разглядывать такую «карту». Приходится почти прижаться щекой к щеке, и дыхание щекочет ушко.

Пафос и гражданственный накал неуместны, невозможны в этой интимной сцене.

Сцена эта вечна, ибо — о любви, о страсти, а не о посадке леса (при всем благородстве сего занятия). А то — страшно подумать: ежели нам, паче чаяния, удастся охранить среду — потеряет смысл чеховская сцена.

Современность спектаклей Некрошюса не нуж-

дается в вульгарных спекуляциях. (Поверьте, не шучу, а точно знаю театр, где сейчас режиссер уже поставил «Дядю Ваню» о перестройке! А как же? — ведь там профессор Серебряков прямо заявляет: «Надо, господа, дело делать!»)

Художнику-гражданину не приходится «стараться о гражданственности». Она неизбежно проявится сама. А вот не имея сего в душе, лепят на сцене протез гражданственности.

Шел «Дядя Ваня», но возникло ощущение, будто смотришь собрание сочинений Чехова. Магически и без усилий со сцены плыли ассоциации. Серебряков капризничал и придирался к Елене, а в мозгу вдруг прозвучали слова Раневской: «Больной измучил меня». И в неуловимый миг — холодком по коже — проскользили чахоточная Сарра, мучающая Иванова, унылые учителя, мучающие своих жен в «Чайке» и в «Трех сестрах», и жуткое — не с себя ли чахоточного писал?!

А когда Астров и Вафля скрутили и связали впавшего в бешенство и отчаяние дядю Ваню, то в глазах его, впервые в жизни лишенного свободы, выразились такие недоумение и боль, что в долю секунды вся «Палата № 6» скрежетнула диссонансным аккордом.

Спектакль разрастался.

Заскользили, заплясали под разухабистую гармошку слуги-полотеры — хамоватые, нагло ухмыляющиеся любой хозяйской беде. О, это были не только яши, которые вскоре заколотят в гроб живого Фирса, рубанут топором по вишневному саду... Возбужденно осклабясь, в опасном крысином азарте слуги толкали ошеломленных Астрова, Войницкого, Вафлю; глазки хамов сверкали...

Некрошюс — мастер передачи мыслей и чувств на расстоянии, передачи на театральном языке. И ему редкостно повезло с соратниками, с соавторами: с художниками Яцовским, Гулытьевой, с композитором Латенасом, с актерами молодежного театра.

Прежде, когда смотрел «Дядю Ваню», всегда думал: сколько теряет пьеса! Казалось бы, должно быть наоборот: ведь в книге — плоская бумага, мертвые буквы, а в театре — объем, краски, живые актеры, смех, голоса... И все равно, в книге Астров — живой, а на сцене — плоский. Вафля в пьесе — странный, а на сцене — дурачок... Всегда оставалось чувство, будто театр чего-то не сказал, что-то упустил, третье — вообще не понял. А тут...

Тут я вышел из зала, понимая, что мало знал о героях. Об их жизни, об их душах.

Помните, в финале Астров, уезжая осенью, говорит: увидимся теперь летом; зимой — едва ли; ну, если что случится — дайте знать — приеду. Вы этого не помните. И я не помнил. Потому что — бессмысленные слова, торопливое прощание, желание избежать слез влюбленной Софии — нечто вроде сегодняшнего «пока, старик, звони, если что».

Здесь же было не так. Здесь непонятная литовская речь почему-то звучала тревожно и обещала беду. Астров прощался с Соней, с нянькой; дядя Ваня покашливал... Как-то странно он кашлял. И вдруг я понял, что кашляет он уже давно, с той самой сцены, где его скрутили, связали и отняли морфий, чтоб не покончил с собой. С ним поступили, как с сумасшедшим, лишив права распоряжаться даже собственной жизнью. И я понял, с ужасом понял, что доктор Астров, конечно, придет раньше. Конечно, что-то случится. Уже случилось. Морфий не нужен. Ведь у дяди Вани от пережитого насилия, от нервного потрясения открылась скоротечная чахотка — он и до весны не дотянет. Никто на сцене еще этого не знал, но Некрошюс увидел будущее героев и показал нам. Вспомнилось вдруг (а раньше и это казалось несущественным), как в яростном отчаянии орал дядя Ваня, что ему 47 и, если он проживет до 60, значит, впереди еще тринадцать лет тусклой, пустой жизни. Он мог успокоиться. Это ему не грозило.

— Мы отдохнем!.. Мы увидим все небо в алмазах! — печально и горько лгала Соня. И рыдающий голос кантора рвал сердце, разымал душу, отпел надежду.

Спектакль кончался. На сцене было совсем темно, только синеватый язык эфирного пламени трепетал и метался, как умирающая надежда. Дяде Ване ставили бесполезные банки.

Вышел из зала — сердце болит.

Настоящая, без всяких кавычек боль.

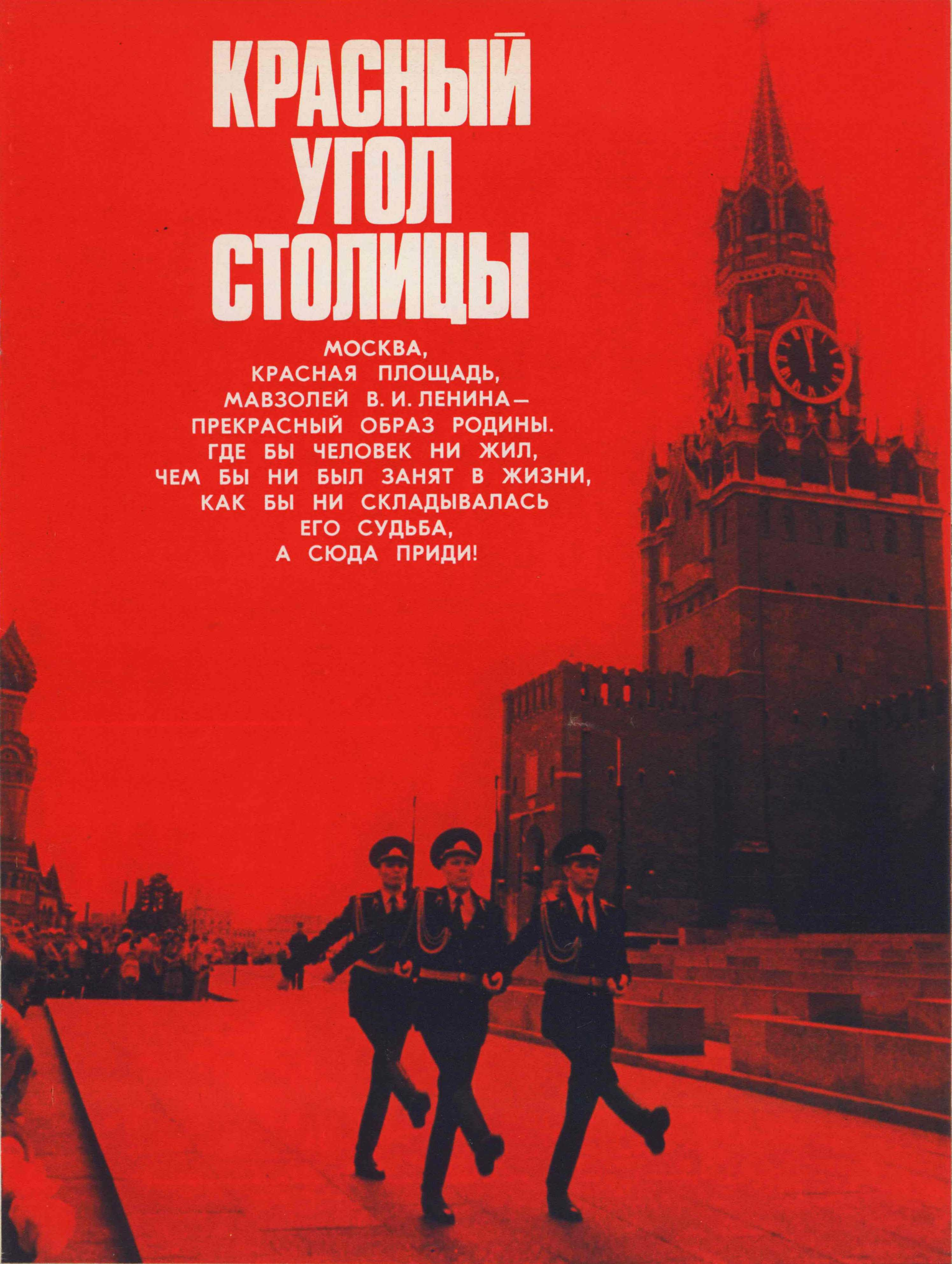
...Вот и все.

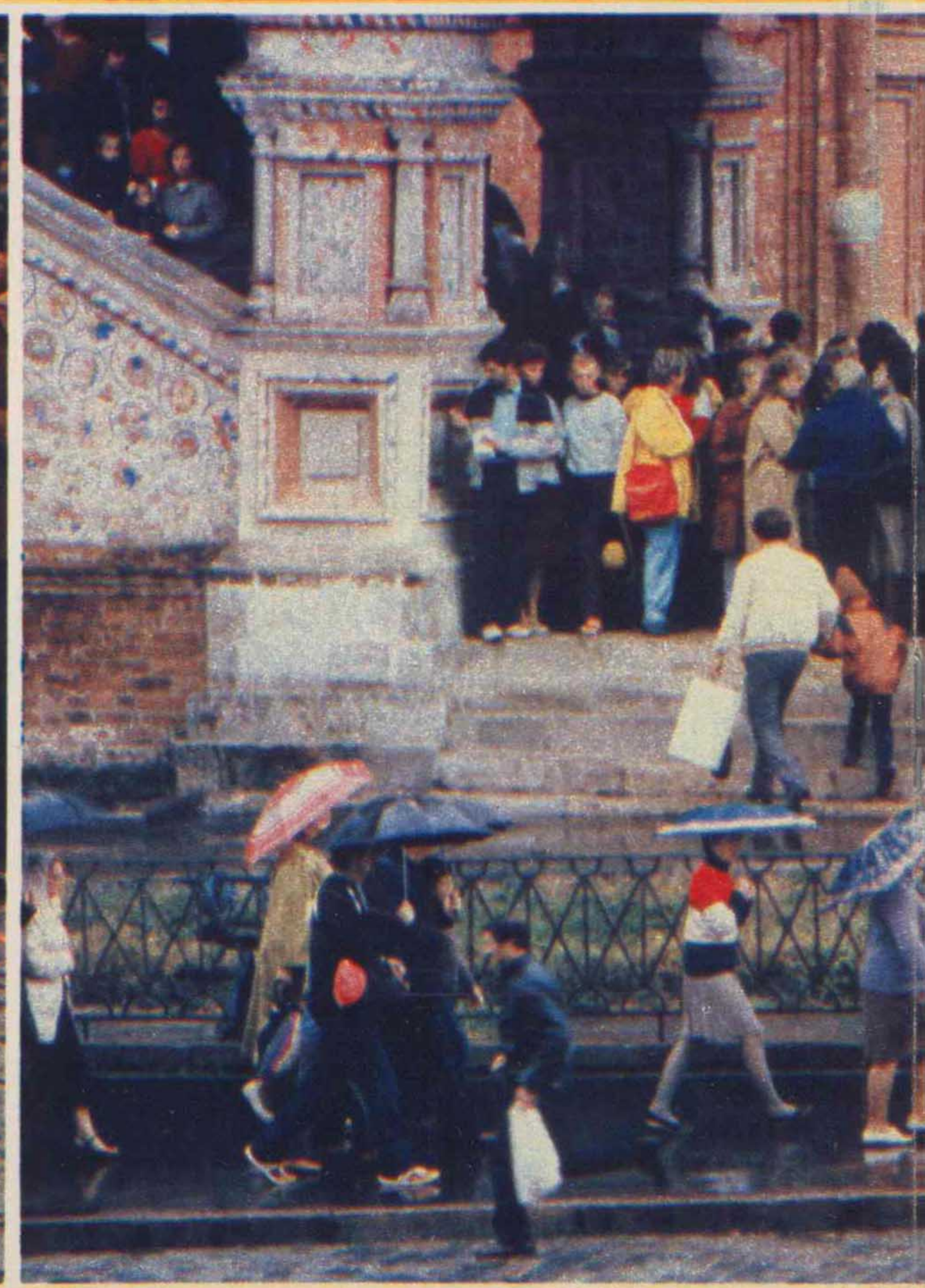
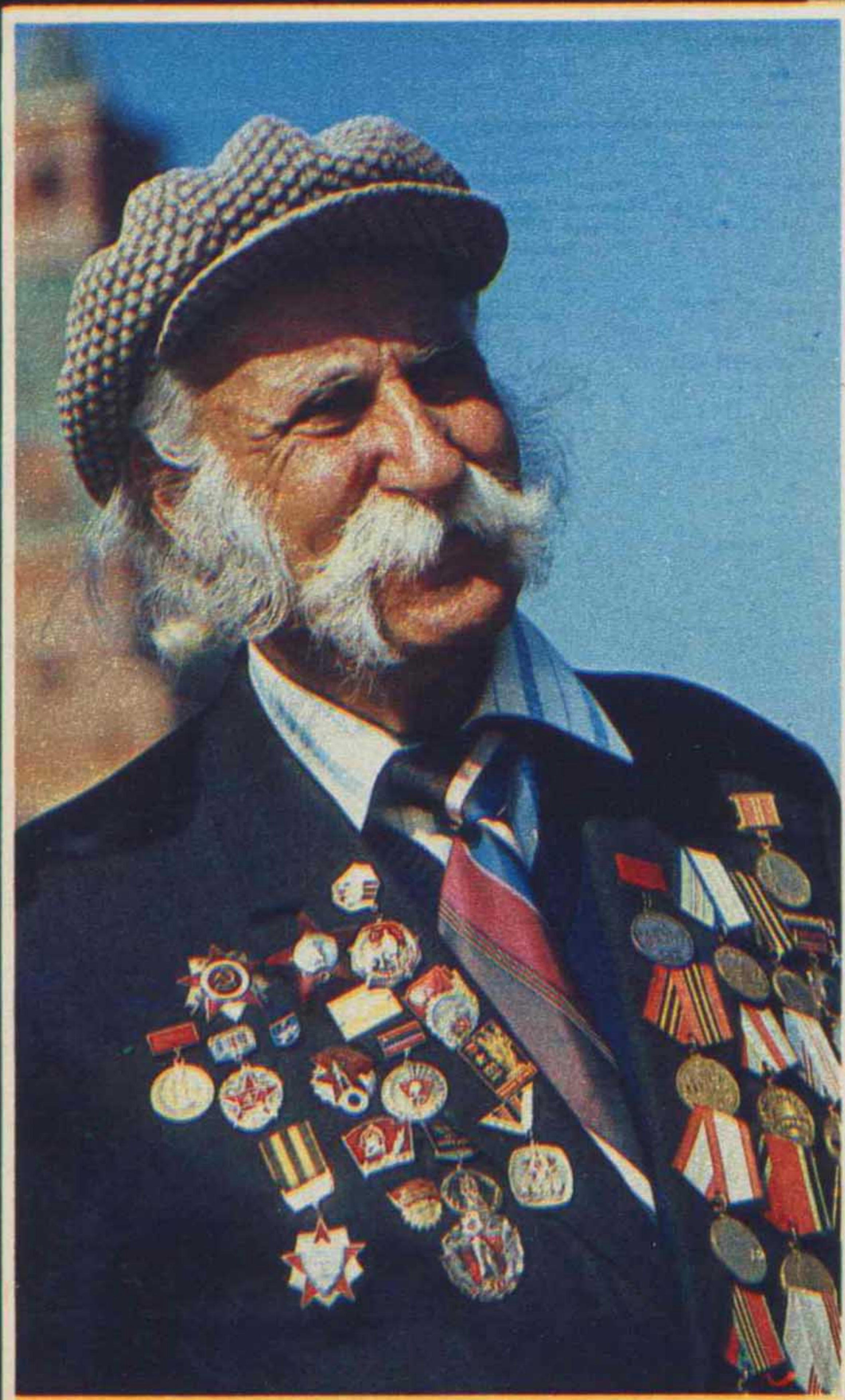
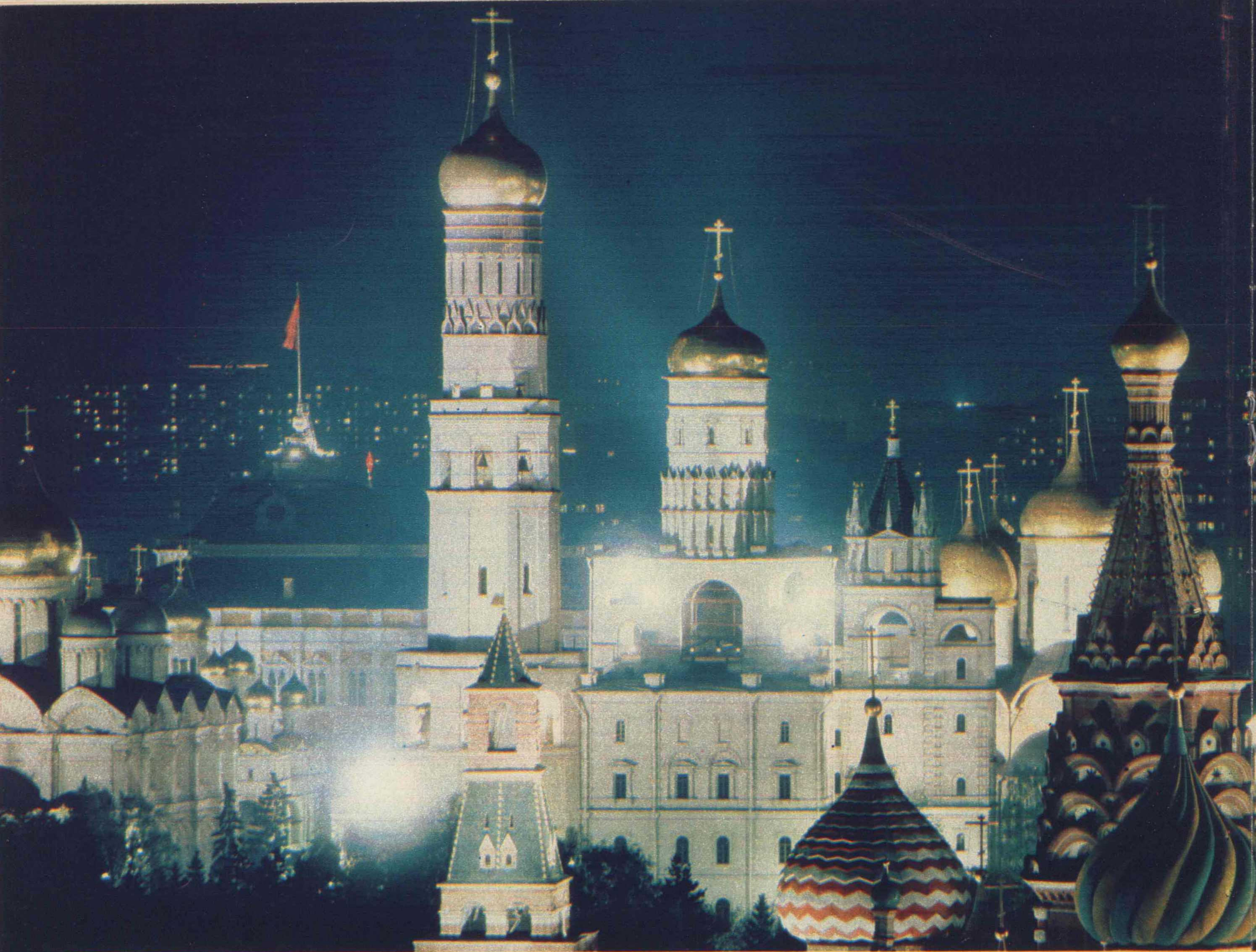
А вы, пока раздумываете, ехать ли в Вильнюс, расскажите приятелю Сороковую симфонию Моцарта.

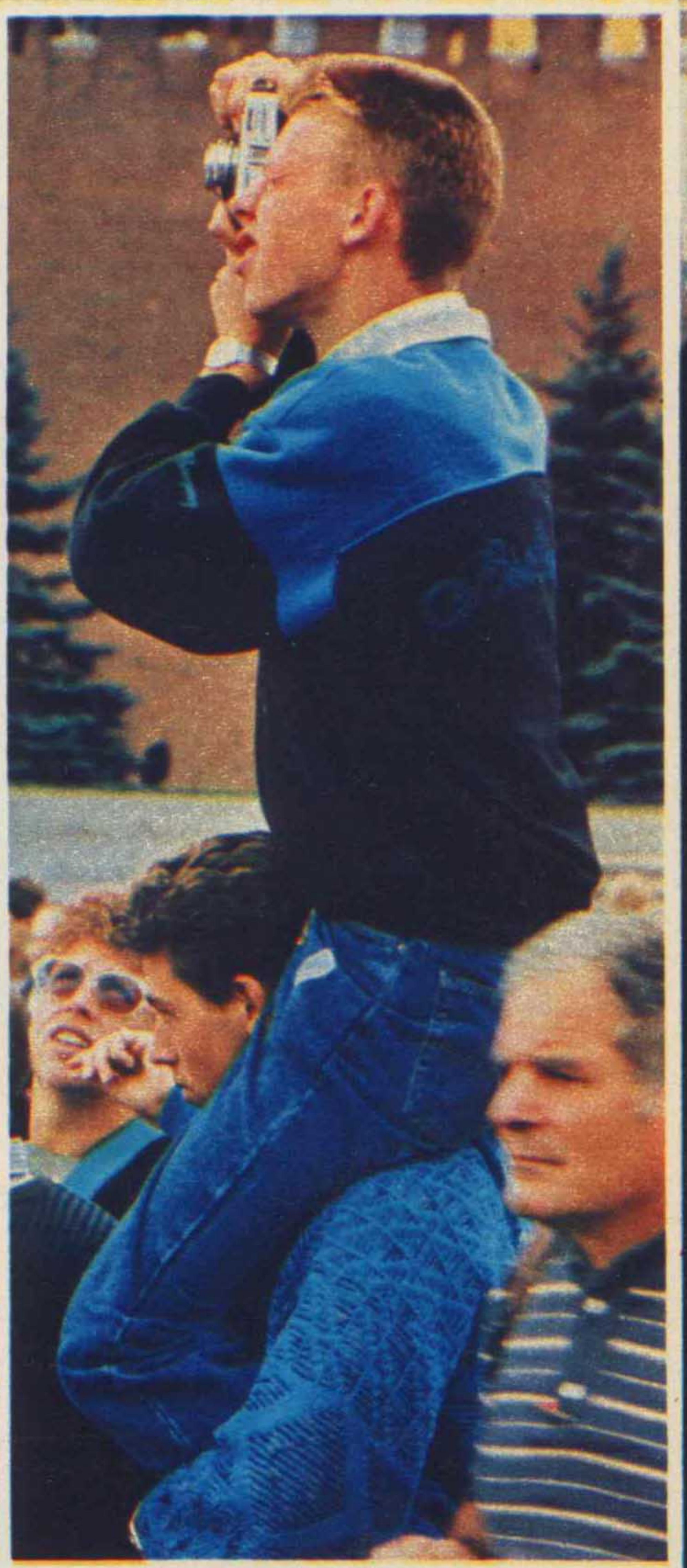
Там, где будет особенно трудно, можете прищелкивать пальцами.

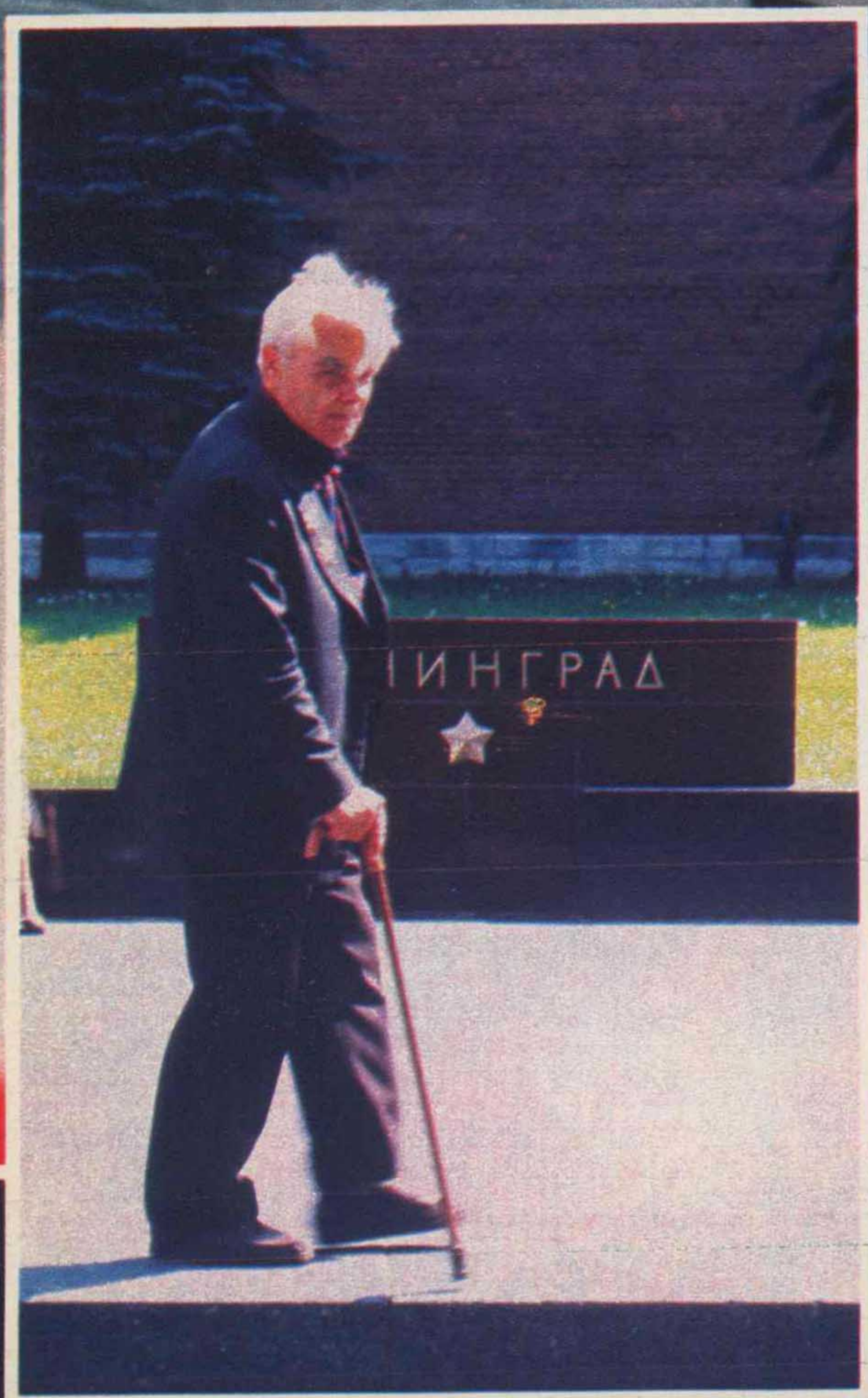
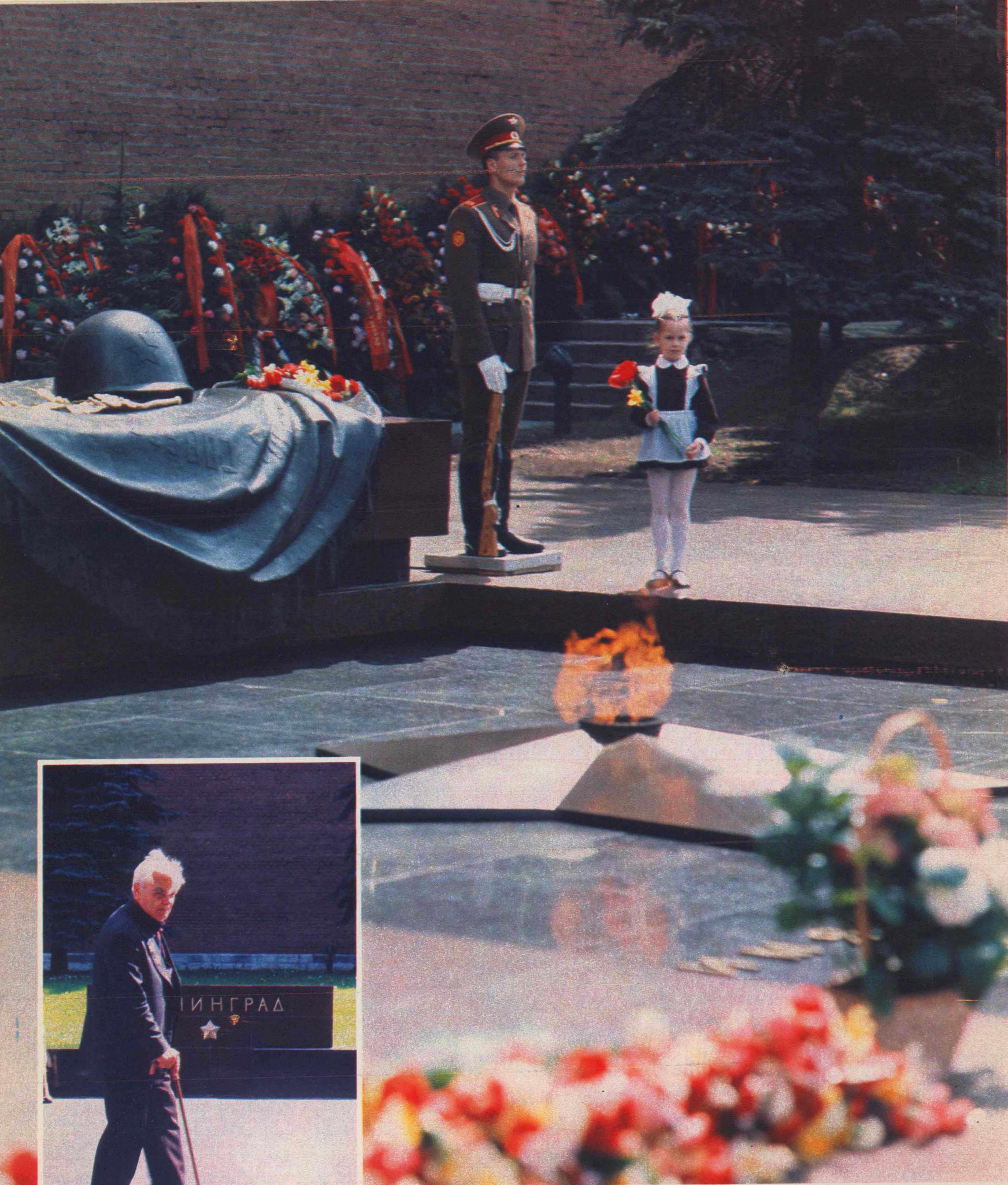
КРАСНЫЙ УГОЛ СТОЛИЦЫ

МОСКВА,
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ,
МАВЗОЛЕЙ В. И. ЛЕНИНА —
ПРЕКРАСНЫЙ ОБРАЗ РОДИНЫ.
ГДЕ БЫ ЧЕЛОВЕК НИ ЖИЛ,
ЧЕМ БЫ НИ БЫЛ ЗАНЯТ В ЖИЗНИ,
КАК БЫ НИ СКЛАДЫВАЛАСЬ
ЕГО СУДЬБА,
А СЮДА ПРИДИ!









**НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.**

Николай БЫКОВ,
фото Анатолия БОЧИННИНА, Александра ВИКТОРОВА,
Николая РАХМАНОВА, Игоря ФЛИСА

Иду на главную площадь страны. Слева мелькнуло предупреждение: «На Красной площади не курят». Да, здесь, словно храм под открытым небом. А само небо — высокое, чистое, залитое предосенним и потому золотым солнцем.

Миную в многолюдье Исторический проезд со зданием, где по пути из Петербурга в Сибирь, на берега Илама, содержался Александр Николаевич Радищев. Уверен, что видел он сквозь ночь и стены величественный Кремль, думал о нем, оставленном царями, и об исторических судьбах Отечества, и нашептывал у свечи утешительные, прощальные слова... Какой она была тогда, в 1790 году, наша Красная площадь?

Присматривался, прислушивался к тем, кто был на Красной площади, убеждался, что большинство воспринимают название ее как революционное, как символизирующее правое дело Октября. Площадь — знамя. И как понятно такое восприятие! Хотя тут же многочисленные экскурсоводы разъясняют, а то и просто по долгу службы напоминают о стародавнем значении слова «красная». И никакого в том уточнении разочарования: площадь и вправду красная, как было принято говорить на Руси издревле, красивая.

А кто площадь у Кремля назвал Красной? Никто. Никто персонально, никаких указов не оглашалось. Народ так назвал. И народ переосмыслил красное как революционное. Как когда-то он, московский люд, долго и точно называл это место Торгом, а позже Пожаром — после реального опустошительного пожара, когда огонь разметал торжище, раздвинул пустошь у восточных стен Кремля... А поставили гениальные зодчие церковь Покрова, и восторженно единое сердце москвичей, ликованием откликнулось оно на невиданную красоту; с тех пор чудо-церковь нарекли храмом Василия Блаженного — по имени обитавшего тут же бескорыстного и прозорливого человека, а площадь — Красной. Шел к концу шестнадцатый век...

Красота несказанная — это ощущение и сегодня не оставляет меня, когда ступаю на брусчатку Красной площади. Строгие грани ее: такая знакомая зубчатая Кремлевская стена, Спасская, Сенатская и Никольская башни, в центре — пирамида Мавзолея, перед глазами храм клубится неопалимой купиной, а за спиной громада Исторического музея...

«На Красной площади земля всего круглей, и скат ее нечаянно-раздольный...» Нечаянность, и раздолье, и гармония! Ощущение радости и покоя.

Советский период в жизни площади начался с ожесточенной схватки красногвардейцев с защитниками контрреволюции. Об этом напоминает сюда входящим мемориальная доска, посвященная отряду «двинцев». Отряд под командой большевика Е. Сапунова шел из Замоскворечья к Моссовету на выручку. Был свинцовый день девятого ноября 1917 года. Проходили строем Красную площадь. А в Кремле — юнкера! Высыпали, оглашая залпами площадь. Сражение за дело Октября в Москве было кровопролитным. Командир Сапунов скончался от ран. Бои за Москву и Кремль не затишали и день, и два... Революция победила, а 23 ноября на Красной площади хоронили погибших «двинцев». Первая братская могила.

— Спите, любимые братья. Снова родная земля неколебимые рати движет под стены Кремля.

Эти слова С. Есенина — из кантаты, посвященной всем, кто полег в революционных боях. Кантату исполнили здесь, на Красной площади, когда в следующем году открывали монументальную доску на Сенатской башне: «Павшим в борьбе за мир и братство народов». В открытии участвовал В. И. Ленин.

Владимир Ильич, как только переехал во главе Советского правительства в Москву, в Кремль, многократно бывал на нашей главной площади. 1 Мая и 7 ноября 1918 года он здесь выступал с речью. Речи здесь В. И. Ленин произносил еще много раз — и перед частями Всевожбуха, и на похоронах Я. М. Свердлова.

А 27 января 1924 года на Красной площади было прощание с В. И. Лениным.

И снова изменился облик Красной площади: она стала строже. Деревянный Мавзолей вскоре перестроили, а в 1930 году его сложили из красного гранита и черного лабрадора. Отныне Мавзолей В. И. Ленина стал еще и главной нашей политической трибуной. Булыжник заменили брусчаткой. Памятник национальным нашим героям гражданину Минину и князю Пожарскому, созданный на деньги по подписке москвичей, переместили на южную грань площади. «Благодарная Россия» — с лета 1818 года волновали и волнуют эти слова... Трибуны вдоль стены сначала были бетонными, а с 1974 года стали гранитными. А Лобное место, откуда кричали глашатаи, теперь не более чем декор.

Жизнь площади продолжается уже много веков, и со временем она, Красная площадь, только хорошеет, обретая вид необыкновенного и наверняка неповторимого архитектурного ансамбля с уникальными общественно-политическими полномочиями.

Кто не помнит парад в ноябре 1941 года! Колонны в серых шинелях прошли через площадь на фронт, который охватил Москву смертельным полукольцом... Помним все и счастливейшие дни 9 Мая и 24 июня 1945 года! Груды черных полотнищ со свастикой набросали у Кремлевской стены воины — представители фронтов Великой Отечественной войны... А какое многоголовое ликующее море москвичей гуляло, плескалось здесь в день, когда на трибуну поднялся космонавт № 1, гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин!..

На площади — десятки экскурсионных групп, сотни, тысячи людей. Вот семья Луханиных из Норильска — не удержался, спросил о впечатлении.

— Как день рождения! Где только не бывал, — признался глава семейства, — а попал в Москву впервые. Дети давно мечтали, и вот мы здесь...

Чета из Нулека в национальной одежде, их тоже спросил, как тут себя чувствуют. Отвечали разом: «Как прилетаем в Москву, сначала сюда. Тут как музей. У Мавзолея всегда венки... Простите, подойдем посмотреть ближе смену часовых».

Ежечасная смена караула у дверей в Мавзолей В. И. Ленина. Люди безмолвием подчеркивают тишину мгновения. Вечная память, карабины с примкнутыми штыками, строгий разводящий, бой курантов. И ощущение, что все мы — современники огромного Времени и отечественной истории. Красивая площадь, красный угол в доме социалистического Отечества, нашем доме.

ТОВАР-ПРИЛАВОК-ПОКУПАТЕЛЬ

Обобщенная ежедневная общесоюзная покупка тянет на 900 миллионов рублей.

В магазинном обиходе товары более чем миллиона наименований!

Но оказалось, за такими масштабами вдруг исчезает именно то, что нужно. Да и новинок немного...

ГУСТО, ПУСТО, ЕСТЬ КОЕ-ЧТО?..

К. БАРЫКИН, С. ПЕТРУХИН (фото).

Когда продать проще, чем купить, это называется. Прежде всего на качестве товара. Но и на уровне продающих. Кое-кому начинает мерещиться, что они самые главные; они все знают, ям подвластен не только покупатель, но и товар.

На всесоюзном оптовом торге впервые за последние годы появился выбор компьютеров. Раньше стояла сиротливо «Электроника», не было к ней программного обеспечения, да и промышленность не очень-то настаивала на своем товаре; малыши сериями шел он с предприятия. А теперь «Агат», «Микроша», та же «Электроника»; программы на бейсике, на других машинных языках. Они готовы прийти в ваш дом, помочь в учебе и в работе, берутся вести ваш бюджет, помогут решить многие задачи, способны редактировать текст, составить письмо, положить в свою память расписание — и на день, и на неделю, и на год вперед. Персональные компьютеры наделены ворохом всяких знаний и умений.

Спросили, кто первым купил партию компьютеров. Кто рискнул? И оказалось, что в первый день торга к машинам только присматривались, приценивались. Кто-то достал было чековую книжку (извините, наряд-спецификацию), но ему тут же отсоветовали: «Не бери ты эту обузу. Прикупи лучше десяток магнитофонов». А кому-то запрошенные семьсот рублей (это средняя цена персонального бытового компьютера) показались непомерно большими деньгами. Но если пойдет компьютер в большую серию, а случится это только в том случае, если оптовая торговля станет закупать его крупными партиями, то и себестоимость снизится, значит, и цена упадет... И будет стоить такой домашний помощник меньше, чем цветной телевизор?

Не увидели мы очереди за компьютерами. Настороженно встретила их торговля. Товар новый, неведомый. Как пойдет? И продавцов надо основательно учить, чтобы они знали: что такое компьютер, с чем его едят?

Промышленность и без того не очень-то балует новинками, а то, что появляется, нередко встречается торговлей с оглядкой на собственный вкус и на свое понимание. Первый часовой завод сконструировал удачный механизм кварцевых часов, идут они очень точно, если позволяют отклониться на секунду в сутки, это предел их своеволия. И тут-то выяснилось, что именно такие, электронно-кварцевые, то есть современные часы не станут главными среди закупаемого на выбор. С большей благосклонностью оптовики отнеслись к десятилетиями известным механическим часам. Вот и будильники подавайте на шестеренках, дедовской давности. «У них точности никакой и ломаются часто». «Больше года не служат, это верно. Но и выбросить не жалко; за пятерку-то...» Поинтересовались: как там «у них», в Швейцарии, скажем, часового своего ли-



дерства не уступающей? «Значительно сократился экспорт из страны именно механических часов и составляет теперь едва 11 процентов от общей продажи. А продажа электронных часов выросла за год на 15,9 процента», — разъяснил нам конъюнктурный коммерческий обзор.

Понятно, без механических часов не обойтись: привычка — дело серьезное, с ней шутки плохи. Да и батарейки не всюду еще есть. Но не об этом мы говорим. И не только о часах. Ориентация на товар вчерашнего дня мешает появлению новых изделий на уровне мирового спроса. В развитых странах скорость обновления товаров в 4—5 раз выше, чем у нас. За пять лет создается практически новое поколение технически сложных изделий, меняется их рынок.

Может, у нас ничего нового не изобретают и не конструируют? Вовсе не так. Промышленность показала и посоветовала закупить дающие великолепное изображение лазерные видео-проигрыватели. Создан, но пока идет только на экспорт мини-телевизор «452». На пермском телефонном заводе разработан первый наш телефонный аппарат, позволяющий общаться глухонемым, — «Спектр-002». Он будет «говорить» с помощью бегущей по крохотному экрану строчки. Собеседники станут набирать на клавиатуре буквы, слова, фразы — и они спроецируются на аппарате, стоящем в другом конце города. Так что «Спектр» не просто ширпотреб, это изделие социальной важности. К сожалению, это пока всего лишь перспективная разработка.

Потому-то мы и предполагаем взять его под опеку: редакции и читателей. Наметили и еще кое-что: «подвесной огород», сконструированный в Башкирии; нужный едва ли не каждому владельцу садового домика биотуалет; те же персональные компьютеры — но это, как вы догадались, не список, это начало его. Очень рассчитываем, что читатели подскажут нам такие изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения, которые нужны им.

Цветной телевизор? Современная пишущая машинка? Деловая перьевая авторучка? Стиральная мини-машина типа «малютки»? Что-то еще, нам вовсе не известное? Вот вчера одному из нас подарили небольшую коробочку — канцелярский несессер, в котором все, что нужно в дороге деловому человеку. Рижский «Дзинтарс» создал зубную пасту «ремодент», превосходящую многие широко известности аналоги. Так отчего «Союзпарфюмерпром» не увлечется всесоюзным выпуском «ремодента»?

«Огонек» вместе с читателями учреждает наблюдение за важными, перспективными, самыми сложными и простыми товарами. Как вы отнесетесь к этой затее, читатели!

Выявим изделия качественные (а качество создает доверие), определим товары марочные, фирменные, забудем об упрощенной логике хозяйственной необходимости и посмотрим вперед: а что нам будет нужно завтра? Может, какие-то изделия предложат конструкторы и изобретатели? Может, напишут нам те, кто ступил на неизведанную дорогу индивидуально-трудовой деятельности: мы хотели бы присмотреться (и оценить) к изделиям, которые выпускают кооперативы и «итэдэшники». Не вторгайтесь в моду, в текстиль, в пальто и платья — тут мы утонем, захлестнет море различных вкусов и предпочтений.

Выберем только то, что поддается более или менее четкой оценке, — товары культурного, бытового, хозяйственного обихода.

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ,
НА КОНВЕРТЕ ПИШИТЕ:
«ТОВАР-ФАВОРИТ»

По просьбе полковника Мальцева Ростислав Знаменский из Ашхабада переезжает жить и работать в Москву, чтобы помочь милиции задержать «гонца» — перевозчика наркотиков, которого только один он знает в лицо.

После долгих поисков они вышли на преступника, но лишь спугнули его. Полковник предполагает, что тот должен укрыться в Туркмени у своих сообщников. Прилетев в Ашхабад, Знаменский вместе с Мерedom, старшим лейтенантом Брагиным и его друзьями-десантниками проникли в усадьбу врача Какабая, расположенную на окраине города. В углу сада в неглубокой яме они обнаружили труп человека, который когда-то представился Знаменскому киносценаристом Петром Сушковым и которого совсем недавно они едва не задержали в московском ночном кафе «Черные березы». Старуха-прислуга в доме Какабая рассказала, что вход в подвал расположен под ковром и что хозяин, спускаясь туда, всегда выключал свет. Подозревая, что подвал заминирован, старший приказывает всем уйти за пределы усадьбы.



Лазарь КАРЕЛИН

Рисунки Петра ПИНКИСЕВИЧА

РОМАН

ДАЮ УРОКИ-2





19

Узкий и длинный коридор в доме был погружен в темноту, но все же можно было различить — какой-то все же проникал сюда дневной свет, — что в коридоре откинута была ковровая дорожка и открывался под ней в полу ход в подвал. Вот к этому ходу и подвела старуха Знаменского.

— Спускайся, — сказала она. — Там ступени. А меня отпусти.

Знаменский начал спускаться, нашаривая ногами ступени, постепенно входя в чуть просветляющийся мрак, и чем дальше шел, тем светлее становилось.

— Давай, давай, Ростик! — услышал он возбужденный голос Пети Брагина. — Сюда, сюда, на свет! — Брагин встретил его, высоко подняв руку с зажатыми в ладони горящими зажигалками, будто пламенем охваченную руку.

Куда он попал? Тут лаборатория была какая-то. В бликах от свечек-зажигалок Знаменский увидел тускло отблескивающие бока автоклавов, хитро соединенных сплетением прозрачных трубок, большие ванны-отстойники, мощные вентиляторы.

— Что это тут? — спросил он.

— Похоже, их главная лаборатория, — отозвался из глубины помещения едва различимый в скудных бликах старшой. — Но и не только. Как-кабай здесь сырец опийный перегонял в героин, но он тут и жил. Петя, подсвети повыше.

— Свет бы включить, — сказал Брагин, вздымая свою горящую руку.

— Страшновато. Вдруг да он еще какую-нибудь ловушку подключил. Тут проверять и проверять нужно. Мы с тобой только одну сняли.

Знаменский стал осваиваться в полутьме здешней, стал постепенно различать — глаза все увеличивали пространство этого подвала, и он убеждался, что это не конура какая-то, а комната,

чуть ли не больше, чем самая большая комната в доме, там, наверху. Противоположная стена этой комнаты ему была не видна, тонула в темноте. Но близкая стена высветилась в бликах от зажигалок. Он пригляделся к этой стене, она вся была в фотографиях, в больших портретах женщин. Блики гуляли по лицам этих женщин, высвечивая то одно лицо, то другое. Молодые лица. Красивые и юные женщины освещали этот подвал своими вспыхивающими лицами. Угадывалось, что многие были сняты нагими, но Брагин светил только лица, он не позволил своей пламенеющей руке опуститься. Блики дрожали, упрямо держась на лицах, рука у Пети Брагина дрожала.

— Он здесь жил, — из глубины комнаты-зала говорил старшой. — Эта нора под землей и была его домом. Бар тут себе соорудил. Тахта тут у него. Шкаф с одеждой. Кухня. Туалет даже. Петя, посвети.

Петя Брагин радостно метнулся рукой от фотографий в противоположную сторону, высветил глубину, где стоял старшой. Там, за спиной у старшого, действительно поблескивали бутылки бара, драгоценными гранями отражаясь в стекле, где возникли и язычки пламени, будто запалившие хрусталь бокалов.

— Все бросил, налегке ушел, — сказал старшой. — Так уходят с концами, только бы шкуру спасти. Смотри, Петя, старший лейтенант, да тут у него арсенал целый! Ого, повезло нам! Смотри! Свети сюда!

Петя Брагин пошел, вздымая руку с огнем к старшому. Туда же и Знаменский пошел, скользя глазами по погасшим, едва теперь различимым в темноте женским лицам. Что-то его тянуло к этим фотографиям, что-то будто окликало. А что, что? Не разглядеть теперь было эти юные лица, этих женщин, загнанных сюда, в подвал, чтобы скрасить кротовую жизнь человека по имени Какабай.

Знаменский подошел к старшому и Пете Брагину. Здесь, возле бара, у стены была стойка для охотничьих ружей, их тут было много, они загорались, бликуя стволами, полированными или в металле ложами. И тут же, в ящике у стойки с ружьями, крышку которого старшой откинул, лежали, будто спали, тесно прижавшись друг к другу, четыре хищноствольных пистолета, похожие на породистых щенков, на маленьких гончих.

— Удача! — сказал старшой. — «Люгеры»! И обоймы к ним. Удача! — Он стал вынимать из ящика пистолеты, по одному, каждый выверая в руке, аглядываясь в каждый, обтирая о рукав. — Петя, хватай! Раздашь ребятам! Вот и нет проблем! Повезло! — Он был просто счастлив, разволновали его эти пистолеты, он влюбился в них, оглаживал «люгер», который взял себе. — Петя, вложи мне обойму. Эх, вояка однорукий!

Петя Брагин передал свои пламенеющие зажигалки Знаменскому, предупредив: «Не обожгись!» — и занялся пистолетом, всаживая в него обойму.

— Совсем новенькие машинки, — сказал он.

— Тут все новенькое. И все «маде», «маде». Откуда? А говорят, граница на замке. Целую лабораторию сюда приволокли. Темно, а то бы могли фирму прочитать. Или США, или Япония. Пошли! Вот теперь — быстро, быстро! Свети, Ростик! Веди!

Вскинув руку, теперь у него она была в пламени, Знаменский пошел к чуть различимому вдали прямоугольнику входа, прошел мимо стены, на которой были развешаны фотографии юных женщин. Теперь он сам мог осветить их. И он так же их светил, как и Петя Брагин, не позволяя руке соскользнуть вниз. Надо было спешить, «быстрее, быстрее!» сказал старшой, но Знаменский все же светил эти лица, он смотрел в них, словно кто-то из этих женщин окликнул его, еще тогда, когда их осветил Брагин, но тогда Знаменский не углядел окликавшую. Теперь углядел. Это была Светлана. Совсем юная на фотографии. У нее было какое-то принужденное, хотя и прекрасное, юное лицо. Принужденное, испуганное, униженное. Это была Светлана! Зачем?! Почему она здесь?!

Он прошел мимо нее, — близко шедшие за ним старшой и Брагин не позволили бы ему остановиться. И хорошо, что они напировали на него, что можно было уйти отсюда.

— Быстрее! Быстрее! — приговаривал старшой. — А вот теперь быстрее!

Они выскочили в коридор, пробежали через дом, выскочили в переулок. Знаменский все еще светил поднятыми зажигалками, хотя солнце ударило в глаза. Он все еще там был, в тьме той.

Парни подошли к нему, разобрали свои зажигалки, чуть не насильно вынимая из его замер-

зшей руки. Сам не свой он был. Парни ни о чем не спрашивали его, вынимали из его руки зажигалки, задували. Им ли было не понять, что тряхнуло там, в подвале, человека, углядел что-то страшное, еще не пришел в себя.

— В машину! — скомандовал старшой, взмахнув «люгером». — Быстрее! Быстрее!

— Откуда у вас оружие?! — кинулся к нему капитан. — И вот еще, еще! — Он прослеживал глазами пистолеты, которые, не таясь, отдал трем своим друзьям Петя Брагин. Сунул он им и обоймы. И все не таясь, в открытую.

— У врага взяли оружие, — сказал старшой. — Кстати, не советую вам, товарищ капитан, лезть в подвал. Мы там одну минку сняли, но не поручусь, что и еще нет какой-нибудь выдумки. И свет не врубайте. Труп в саду! Исследуйте! А мы — в аэропорт!

— Но оружие вам все же придется сдать! — строго сказал капитан.

— Сейчас или чуть повременить? — уже из кузова спросил старшой.

Капитан помедлил с ответом, задумался, промолчал.

— Ростик, в машину! — Петя Брагин подсадил Знаменского, вскинул, парни подхватили его, будто сонного, машина рванулась.

20

Снова проспект Свободы. Но теперь путь в обратном направлении. И путь через совсем другой город. Въезжали в утренних сумерках, теперь ехали в солнечном утре. Совсем другой город. Но знакомый для этих парней, опаленных афганским солнцем. Такие же деревья, как в Кабуле или Герате, такие же дувалы, когда свернули с проспекта, да и проспект, хоть и в новых домах, был все так же застроен, как и там строили свои казенные здания. Но главное, что арыки журчали, наполнились мутноватой, поутру напористой водой, что где-то вздыхали, истомляясь, какие-то птицы, которых не видно было, а лишь слышно. Как и там, в Кабуле или Герате, в любом там городке, в любом селении. И уже полился воздух запахами утренних кушаний сих мест. А это был чурек, только что испеченный. И это была баранина с углей. И это был разрезанного арбуза запах. Божественные меты доброй жизни на земле.

Другой город! Но еще и потому другой, что все, ехавшие в машине, знали теперь про труп в уголке сада, подвал в «хитром домике», где были добыты эти вот «люгеры», которые те, кто получил их, сейчас вытирали, подгоняя обоймы. Это было оружие, и его готовили к бою. К бою!

По мирным улицам все еще спавшего города, в стране, где и не пахло войной, мчалась военная машина, в которой сидели люди, отвоюевавшие недавно и вновь готовившиеся к бою. Здесь, в этом мирном мире...

Солнце все более разгоралось, все более угревалось, а Знаменского знобило. Он был там, в подвале.

Петр Брагин сидел с ним рядом, и его тоже знобило, не могло его согреть жаркое солнце. Он был там, у ямы.

Они сидели на железном сиденье армейского вездехода, их подбрасывало, машина шла, срезая повороты, прорываясь через город на недозволённой скорости, их заваливало друг на друга, они, чтобы удерживаться, обнялись. Им и следовало обняться, одним ознобом они сейчас жили, в одной судьбе омывались.

Вдруг навстречу вездеходу выехала машина «Скорой помощи». Эта машина тоже шла очень быстро. В военном вездеходе люди мчались, чтобы кого-то схватить, в «Скорой помощи» люди мчались, чтобы кого-то спасти. Промельком разминувшись эти разные машины. Но Знаменский успел углядет женщину в белом халате, сидевшую рядом с водителем, почудилось ему, что это Светлана, он даже привстал, махнув неуверенно рукой. Разминувшись, разомкнулись машины.

Но такая щемящая нежность вспыхнула в Знаменском к этой женщине в исчезнувшей машине — поверилось, что это она, Светлана, — что он самому себе изумился, такое не помня в себе, такого не зная себя. Да он ли это и был, тот Ростик Знаменский, которому все было морем по колено? Но что это за море, где было ему по колено? Не то ли, курортное, пляжное, где-то в Юрмале, где действительно идешь, идешь, а море все по колено, уже и от берега далеко, а все по колено. Легкой жизни море, курортной жизни.

Вот и аэропорт. Еще только поворачивал вездеход, почти не сбавив скорость, а уже вошел в огляд всех сидевших в машине полукруг этот из аэропортовых строений, где предстояло им

действовать, и поле аэродрома, проглянувшее поверх зданий и в просветы между ними, и самолеты там, длинные и короткие их тела, разных размеров и могущества металлические птицы. Где что случится? Когда начнется? На какую птицу падет выбор?

Машина встала чуть в стороне от основного здания аэровокзала. Там было людно, почти базар восточный уже раскручивался, ибо пассажиры, собравшиеся лететь, прихватили в полет все дары здешней столь щедрой по осени земли. Там желтели дыни в громадных авоськах, там алали гранаты в щелястых ящиках, там цвели громадные букеты ашхабадских роз, обязательные для любой ашхабадки, отлетающей на север. Вот прилетит и потрясет друзей этой охапкой роз.

А у здания, где встала машина, пассажиров не было. Здесь настороженность жила. Из здания этого, примыкавшего к ограде аэродрома, вышла группа военных. Майор воздушной милиции, отделившись от группы, пошел встречать прибывших. Ну, поковыряли друг друга Петя Брагин и майор, ну, ознакомился майор с документами Брагина и Знаменского, почитал внимательно бумажку, которую вручил ему Брагин и где, по видимому, было дано кое-какое разъяснение по поводу прибытия Брагина и Знаменского.

— Полковник Мальцев должен был звонить, — сказал Брагин. — А это мои друзья по Афганистану. Решили мне подсобить...

— Был, был звонок из Москвы, — покивал майор, вчитываясь в бумажку, а затем аккуратно сложив ее, дабы получше улеглась в кармане кителя. — Но только про вас двоих звоночек, а тут вас вон сколько. Так, значит, демобилизованные после службы в Афганистане? Ну, ну, согласен, народ обстрелянный. Так ведь и мы не зря государственный хлеб жуем. — Майор был лет сорока мужчина, с сединой, уже кое-где проклюнувшейся в курчавых на висках волосах. — Так, так... А вы, Джумаев, как в их компании очутились?

— Я друг Ашира Атаева, — вытягиваясь по-военному, сказал Меред. — Все по тому же следу идем, товарищ Сапармуратов.

— Так, так, по тому же следу... Что же, дело действительно серьезное. Но нет тут вашего Какабая, если даже и он тоже в том деле замешан. Известен нам ваш Какабай. Всех осмотрели, нет его тут.

— Должен быть, — сказал старшой, тоже вытягиваясь привычно перед майором, отчего повис у него пустой рукав.

Майор внимательно поглядел на старшого, оценивая его, поглядел и на пустой рукав.

— А вы зачем? — спросил.

— Пригожусь. Я так думаю, товарищ майор, что Какабай и его люди, вот только не знаю, сколько их с ним, нацелились захватить самолет. У них другого выхода нет. С концами рвут.

— Убили своего, все побросали, — сказал Петя Брагин и тоже подобрался привычно.

— Ну, а почему вы считаете, что они не на поезд рванули? — спросил майор, изучая старшого, безрукого этого солдата, на гимнастерке которого было много невыцветших мет его солдатской доблести, и майор не мог не читать эти меты.

— Поезд — ловушка для них, — сказал старшой. — И куда он их привезет? В Россию?

— Мы там вспороли их хазу в Москве, — сказал Брагин. — Вот мы и вспороли. — Он повел рукой на парней-десантников, прихватив и Знаменского, и себя, а на старшого остановив указывающий палец, как на главнокомандующего.

— Так, так, резонно. Что ж, рейсы на какое-то время мы задержали. Но не на вечность же. И нет тут вашего Какабая. И в наличии нет, и по регистрации билетной нет. Среди пассажиров этот старый франт не обнаружен. Как поступать прикажете?

— Мы поглядим, — сказал старшой. — Давай, ребята! Меред, пойдешь со мной, покажешь мне своего приятеля.

— Какой приятель?! — взорвался Меред. — Шелудивый пес ему приятель!

— Пошли, пошли, Ростик, подключай глаза. Давай, братва!

Скинув робы, жарко становилось, пошире распахнув гимнастерки, отчего звякнули награды, пошли, по пути рассыпаясь, растягивая цепочку, десантники, вступили в толпу, в базар этот аэропортовский, как вошли бы в базарную толпу где-то в Кабуле или Герате.

ся голос на туркменском, чтобы затем перевести на русский, голос мягкий, участливый, молодо-женственный, но неумолимо сообщающий, что рейс на Ташауз откладывается, как и рейс на Красноводск, как и рейс на Мары. Из-за погодных все условий.

Не принимала и Москва этот вставший возле аэровокзала, бесконечный какой-то и совершенно могущественный лайнер Ту-154. Вот уж была птица из птиц, орел среди металлических орлов. И его, эту громадину победоносную, не принимала Москва, где шел снег, метель задувала. Это казалось вопиющим враньем — здесь, где с утра было под тридцать и даже ветерок не вспархивал. Но так уж случилось, что в Ашхабаде небо было безоблачным, а во всем остальном мире бушевали бури, ниспадали на землю яростные дожди и даже снега.

Над базарной толпой отлетающих, но не улетающих, сияло солнце, именно так, безоблачно было небо, но толпа гудела и волновалась, ибо решившийся улетать охвачен полетным нетерпением, ему тесно на земле, подавай небеса.

Туркмены, а в толпе было больше всего туркмен и туркменок, старых и малых, просто даже едва народившихся — и все куда-то собирались улетать, — туркмены, некогда племя кочевников, ныне, казалось, если и осело на земле, то все же приохотилось кочевать по небу. Не на земле, так в небе, но все же тянуло этот гордый народ в кочевой простор. И, отправляясь в путь, в гости или по делу, туркмены, многие из них, надевали свои национальные одежды, такие совсем, в которых некогда странствовали по своей обширной земле. Наряжались в бывшее, отправляясь в небо.

Толпа предполетная была ярка, пестра, а одежда традиционная туркмен, мужчин и женщин, была настолько красивее стертой европейской одежды, что эти красные в тонкую черную нитку мужские халаты, красные, зеленые и синие тоги женщин, черные и белые тельпеки мужчин, цветастые платки женщин, их нагрудные из серебра украшения, усыпанные красными и фиолетовыми камушками, глянцевитые голенища мягких сапог, ковровые укрытия женских ног, и лица, лица, яркоглазо вспыхивающие лица, особенно лица молодых женщин, не очень-то позволявших себя разглядывать, и сияние детских лиц — все это, сплетаясь, соединившись и с цветом дынь, арбузов, гранатов, винограда, с охапками крупных роз, такую изумительную слагало картину, какую не сумел бы воспроизвести ни один из живших на земле великих художников, но и не нужно, раз есть все это, возможно такое не на картине, а в жизни.

Вот в эту красочную, в эту напрягшуюся в ожидании неба толпу и вошли десантники, кинжально пронизывая все и вся своими взглядами, такими глазами глядя, которые отчасти разучились понимать красоту, столкнувшись в жизни и с коварством, исходящим из подобной красоты, и с выстрелом, звучащим в подобной толпе.

Знаменский тоже сейчас смотрел, не любясь, а подозревая. Меред, которого не отпускал от себя старшой, тоже сейчас смотрел, не любясь, а высматривая. Знаменский и он знали этого Какабая в лицо. Его знали в лицо и те из местных милиционеров, которые тоже вступили в толпу. Они даже знали, как он одет обычно бывает. Они, иные из них, даже знали звук его голоса. Знаменский тоже знал, как звучит этот голос, но он тогда, в Небит-Даге, был деланным, специально истонченным под старика из простонародья, как и тот халат и тюбетейка, в которые вырядился тогда Какабай. Эту маскарадную одежду, убегая, он бросил в своем заминированном доме. Сейчас он должен был предстать перед глазами тех, кто его искал, в своем обычном обличье. Он слыл в городе франтом, европейцем, одевавшимся, как богач заморский. Такого тут даже близко похожего не было. Толпа была не только в национальной одежде, тут было много из России людей, живших тут и улетающих погостить к себе домой, в свой первый дом, либо очутившихся здесь на короткое время, чтобы улететь домой, сделав свои дела, — эти два потока людских не смешивались. Было ясно, что большинство туркмен не на лайнере собирались лететь, не в далекую и холодную ныне Москву, где даже снег идет, а хотели они слетать к себе, к родным всего лишь в Ташауз, в Мары, в Красноводск, но и там свирепствовала непогода, но и их самолеты, все больше старые, выдавшие виды, как тот Ил-14, на котором Знаменский и десантники с Мередом прилетели несколько часов назад в Ашхабад, но и эти самолеты-вездеходы не желала при-

нимать давно ставшая для них родной туркменская земля. Взбунтовалась повсеместно эта земля, как и небо над ней, хотя тут, в Ашхабаде, было безветренно и безоблачно.

Нигде не было Какабая — ни среди туркмен, ни среди русских. А был ли он вообще тут? Может, старшой ошибся в своих выкладках? Не хотелось усомниться в старшом, он должен был оказаться правым. Такой он, этот молодой парень, такая исходила от него сила, убежденность такая, что усомниться в его правоте просто было невозможно.

Но не было, нигде не было Какабая. И нигде не группировались какие-либо подозрительные личности. А какие другие могли бы группироваться возле Какабая? Не было нигде подозрительных личностей, как ни пронизывай эту толпу кинжальными, зорчайшими взглядами.

Петя Брагин Какабая в лицо не знал, но он был зорек особой зоркостью. За краткие часы с того мига, когда остался наедине со своей Ирой, он научился столько, понял столько, что зоркость его стала необычайной, стала мудрой, как у старого, много познавшего в жизни человека. Но и Петя Брагин нигде не мог угледеть Какабая, который непременно бы выдал ему себя, трусливо, на миг, сморгнув глазами. Не было такого человека.

Шли, всматривались, пугали своими глазами-выстрелами молодых женщин десантники и Знаменский с Мередом, но ничего не умели усмотреть. Только того добились, что их стали разглядывать. Эти молодые мужчины странно себя вели. Они должны были бы любоваться женскими лицами, им положено было любоваться красой женской, как положено было молодым женщинам укрывать стыдливо лица; а эти молодые парни на них, на женщин, юных и прекрасных, лишь скользкие бросали взгляды, равнодушные, отыскивая еще кого-то, — мало им было этой красоты. Было ясно, что военные эти люди в дерзких тельняшках, что милиционеры местные и вот эти штатские, но тоже с ними, что они кого-то разыскивают. И стало ясно всем, всей толпе, что потому и задерживаются вылеты, что здесь кого-то разыскивают. И напряжение в толпе начало еще более возрастать, смешав предполетную высокую тревогу с низменно-земной.

А Какабая нигде не было. И надо было что-то решать. Голос молодой женщины, извещавшей, что там-то и там-то непогода, устал.

Но вот вдруг в голос этот, в некий зудящий звук динамика, который всегда предупреждал начало звучания голоса дикторши, до слуха Знаменского дотянулся откуда-то из дальнего далека едва различимый звук, тоненький звук того самого звоночка, который запал в его памяти еще с детской поры, был школьным звоном, был тем звоном, который потом упреждал его, когда придвигалась к нему опасность, когда наступал миг решений. Откуда? Что вдруг? Знаменский приостановился, вслушиваясь. Он не всматривался сейчас, а в себя вслушивался, зная, что звонок зазвенел в нем неспроста.

И в это время и Меред приостановил шаг. Наверное, тоже какой-то звоночек ему посигналил. Вот он и всматривался. Просто вцепился глазами в сидевшего в сторонке, в тени тонкого, чахлого деревца старика в нарядном красном халате, в высоком черном тельпеке. Седобородый это был старик. И даже брови у него были седыми, косматыми и седыми. А усы выжелтели от табака, от жвачки этой табачной, от которой никак не умели отучить себя иные из старых, очень старых туркмен.

Теперь поглядел на старика и Знаменский. Поглядел не столько для того, чтобы вглядеться, сколько потому, что едва взглянул мимоходом, как звоночек школьный просто завопил в нем. «Тепло! Тепло! — вопил звоночек. — Горячо!»

Седобородый старик, седобровый и желтоусый, почувствовав себя в перекрестии взглядов, неуклюже ворохнулся, нервно, зло дернув губами. И все! Он был узан! В старое его лицо были вставлены жадные, крепкие, молодые зубы. Выдал себя Какабай этими зубами.

— Он! — крикнул Меред, протянул руку, указывая на старика. — Эй, Какабай, пес проклятый!

Старик глянул на него, убил глазами, а потом глянул на Знаменского и тоже убил глазами. А потом, поняв, что узан, пойман, что погиб, изпод полы халата — повадка бандита, душмана — выстрелил в Мерета. Но не попал, потому что старшой, перехватив его взгляд, успел отшвырнуть своей рукой-обрубком Мерета, успел, успел. Он и сам выстрелил, но чуть замешкался с выстрелом, потеряв, возможно, долю секунды, когда отбрасывал Мерета, спасая от пули. Долю

секунды потерял, долю секунды. В эту долю секунды Какабай выстрелил в него и побежал.

Старшой стал медленно падать, как в замедленном кино, падать. А Какабай, грузный, круглый, путаясь в полах длинного халата, стал убежать.

И тогда выхватил свой «вальтер» из-под руки Знаменский и выстрелил, понимая, что не попадет, не умея попадать, и понимая, понимая, что старшой падает, старшой ранен, убит. Он, Знаменский, не на Какабая глядел, когда стрелял в него, он на старшого глядел, умирая вместе с ним от отчаяния. К старшому уже кинулся Мерсед и завыл, завыл.

А Какабай тоже стал падать. Знаменский попал в него, в тот мерзкий мешок в халате и в тельпекке, в этого в чужое замаскировавшегося убийцу.

Ничего будто бы не случилось. Какие-то всего четыре выстрела-хлопка прозвучали. Только и всего. Да и выстрелы ли то были? Так, похоже очень, стреляют выхлопные трубы машин, если не слишком хорошим заправлены эти машины горючим.

Но эти четыре хлопка всполюшили всю толпу, где давно ждали чего-то, напряглись в ожидании. И нервы не выдержали у иных. У этих вот четырех или пяти мужчин в халатах, которые вдруг кинулись бежать. Стреляли не в них, а побежали они. Бросились наутек какие-то еще ряженные. Неумело бежали эти люди в халатах, которые они разучились носить, а может быть, и никогда не умели. Десантники выхватывали их из толпы, скручивали им руки, связывая длинные рукава халатов. Десантники умели это делать.

Вот и все. Да, вот и все.

Вдруг послышался сигнал «Скорой помощи». Вон как быстро подоспела! Машина встала возле Знаменского, который еще ничего не умел понять, только слышал, как воет, по-звериному воет от отчаяния Мерсед, склонившийся над старшим.

Из машины выскочила женщина в белом. Это была она, Светлана. Она кинулась к Знаменскому, сказала, задохнувшись от бега, хотя сделала всего несколько шагов:

— Я увидела тебя в машине, кинулась за тобой!

— К нему! — протянул руку Знаменский, указывая на старшого.

Светлана кинулась к длинно вытянувшемуся на асфальте человеку, молодолодику, зажмурившемуся. Навсегда! Врач, она поняла это мгновенно. Но она все же взяла его руку, ту, которая была обрубком, потом взяла ту, в которой намертво был зажат пистолет.

— Однорукий солдат? — изумилась она.

— Да! Да! Да! — кричал-выл Мерсед. — Он не успел! Он спасал меня!...

— Он умер, — сказала Светлана и пошла, как-то вдруг замедлив шаг, к мешку в халате, пугаясь еще издали этого мешка, выпроставшего руки из рукавов, уродливо унизанные перстнями руки. Светлана наклонилась над убитым, подогнула у нее колени, она узнала его, оскал этот узнала.

— Кто его? — шепотом спросила она подошедшего Знаменского.

— Я.

Лицо ее, испуганное, уstraшенное, стало светлеть. Она смотрела на него, и что-то менялось в ее лице, разглаживалось будто, да, да, светлело.

— Ростик, ты убил самого страшного в моей жизни человека, — сказала Светлана. — Ростик, это судьба, да?..

А он все вслушивался в сказанное им слово, в это из одной-единственной буквы слово, в это — «Я». Оно гремело в нем. Нет, иной то был звук. Звенело в нем это слово, вытончившись. Тот самый, из детства, звоночек снова пробрался в мозг, но только не звенел издали, а в нем звенел, набирая в громкости, захватывая, охватывая его всего звоном.

Вот как все обернулось в жизни, как одно зацепилось за другое, повело, привело. И теперь, что же, с этим и жить дальше? Жить дальше. Вот ради этой женщины, у которой возле убитого просветлело лицо. И так бывает... Как же измучивала ее жизнь, как же унижала и оскорбляла, если и так бывает?

— Уйдем отсюда, — сказал он ей и взял ее за руку, уводя.

22

Похоронили старшого на Ашхабадском кладбище. Его погребли рядом с могилой Ашира Атаева. Такой же нашли простой гранитный камень, как и на могиле Ашира Атаева. Но только еще не успели выбить по камню слова, надпись эту короткую, все главное сумевшую вложить. Эта надпись была на фанерной дощечке, временно воткнутой в рыхлую землю только что закрытой могилы. На фанере было начертано:

ВАСИЛИЙ ТИТОВ ИЗ МОСКВЫ, ОТДАВШИЙ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ... И в скобках прибавлено: (СТАРШОЙ)...

Много народу собралось на эти похороны. Вся аллея широкая была запружена народом. Тут были и те, кто знал Василия Титова по Москве, и те, кто не знал. Но все знали, что это был за человек, знали, что надпись на фанере была в той же цене, что и надпись на граните на могиле Ашира Атаева.

На похороны прилетел полковник Мальцев. Был он в военной форме, при всех своих орденах, которых, кстати, не так уж было много. Это были боевые ордена, но мирного времени, скупые ордена, но боевые, боевые, хотя мир царил во всем мире.

На похороны остались десантники. Петя Брагин был с ними. Опять их было семеро. Загадочная эта цифра — семь. Она имеет силу созидания, сложения в нечто целое, завершенное. Семеро их было, парней этих в тельняшках, и тоже с боевыми наградами на гимнастерках. От сражающихся они были делегированы на это мирное кладбище мирного города. От сражающихся, как и эти двое, навсегда оставшиеся тут, про которых коротко сказано было: «ОТДАЛИ ЖИЗНЬ ЗА

РОДИНУ». Надо, стало быть, и сегодня за НЕЕ отдавать жизнь.

Все тут были: и Дим Димыч, и Захар Чижов с женой Ниной, и шофер Алексей, и две девушки, так заплаканные, что не понять было, где Лара, а где Лана. Все, все тут были.

Был и Мерсед. Потемнело его круглое лицо, запали щеки.

Рядом с полковником Мальцевым стояли Знаменский и Светлана.

— Да, дорогой ценой платим, — сказал им полковник Мальцев. — И еще будем платить...

Только что отзвучали речи. Последняя минута настала, тишина вступила на кладбище. И тут выхватили десантники-«афганцы» свои «люгеры» и открыли яростную пальбу в небо. Прощались, ненавидя эту мнимую тишину.

И Знаменский выхватил из-под руки свой «вальтер» и начал палить в небо.

Нет тишины. Лгут те, кто объявляет о тишине. Еще рано!

За деревьями, позади могил Ашира Атаева и Василия Титова, в просвете между деревьями, увидел Знаменский вереницу детей, взявшихся за руки. Они шли, за старшим младший, и еще более младший, до самого маленького, который все же умел ходить. А самый маленький, грудной, был на руках у матери, шедшей впереди детей. Шествие это замыкала большеголовая рыжая собака. Это была семья Ашира Атаева.

ЭПИЛОГ-2 (О ЗНАМЕНСКОМ)

Осень. Благословенная пора, когда не жарко в этом знойном городе. Осень, благословенная осень... И в один из ее дней у здания школы, где мальчишки прыгали через железную ограду двора, остановился высокий мужчина, по-местному одетый: выцветшие брюки, просторная рубашка, запыленные сандалеты. Это был Знаменский. Он постоял, посмотрел, как прыгают мальчишки, улыбаясь их смелости. Грустно улыбаясь почему-то. Вспомнил себя тут недавнего? Поэтому? Постоял, посмотрел, повспоминал и пошел дальше, но вскоре остановился у столба, на котором уцелела, хоть и сильно выцвела, бумажка, сообщающая, что картограф Д. Д. Коноплин «дает уроки любознательным». И там же, пониже, была и его, Знаменского, приписка: «Даю уроки английского и французского. Могу подготовить для поступления в институт иностранных языков и институт международных отношений (МГИМО). Адрес тот же. Р. Ю. Знаменский». Его текст выцвел чуть меньше, чем Д. Д. Коноплина, но все же выцвел, уж больно тут горячим было солнце. Знаменский достал из нагрудного кармана свой замечательный золотой «паркер» и подновил текст.

Потом он перешел к другому столбу, где ветер трепал такой же листок, и тоже подновил на нем слова, обвел «паркером» выцветшие буквы. Потом пошел дальше, приближаясь к своему дому.

Ашхабад — Москва, 1987 г.

РАССКАЗЫВАЕМ
О ХУДОЖНИКЕ
ПЕТРЕ ПИНКИСЕВИЧЕ,
ИЛЛЮСТРИРОВАВШЕМ
РОМАН
ЛАЗАРЕ КАРЕЛИНА
«ДАЮ УРОКИ-2».

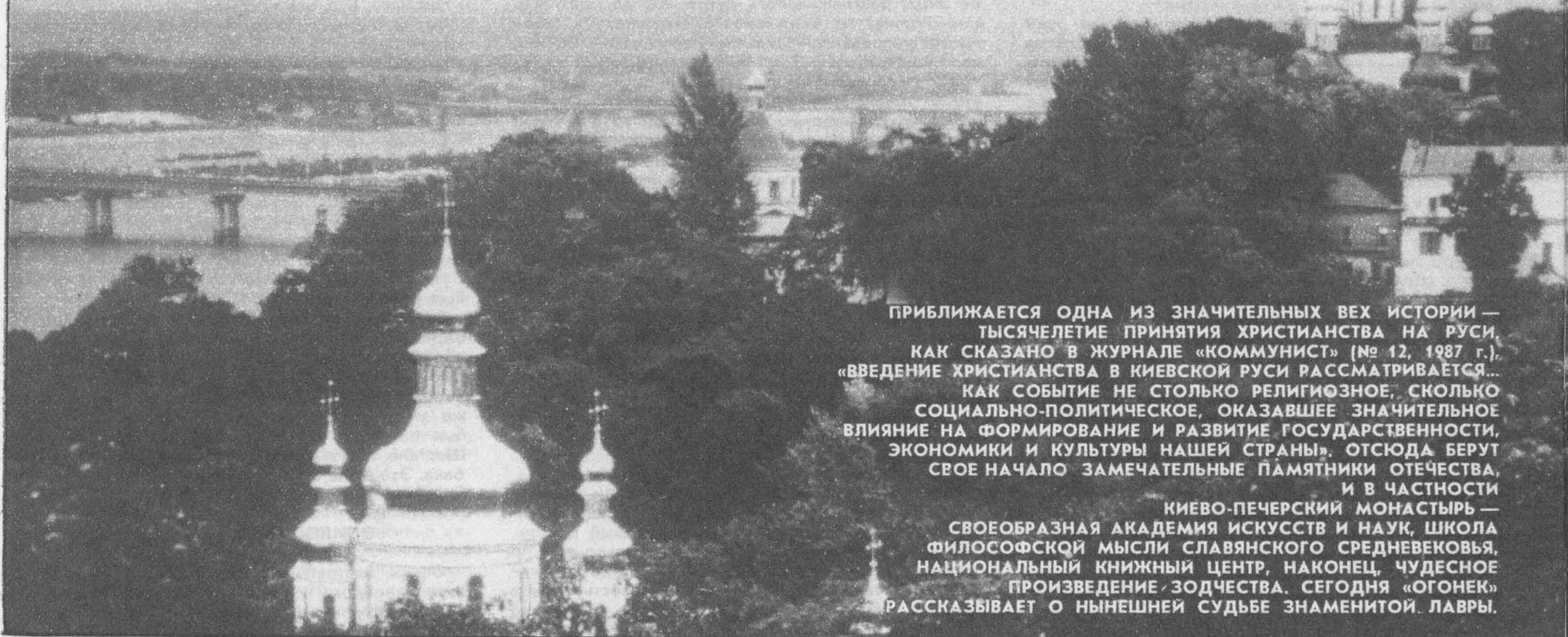
Герои многих литературных произведений запоминаются нам такими, какими их нарисовали художники-иллюстраторы. Так, на героев Льва Толстого мы смотрим глазами Д. Шмаринова или путешествуем с фантастическими героями Грина, созданными С. Бродским. Многим любителям книги знакомы персонажи, «проявленные» талантом художника-графика Петра Пинкисевиича. Список проиллюстрированных им произведений умещается на сорока трех листах машинописного текста. «Легче сказать, кого не иллюстрировал: Достоевского, Пушкина, Гоголя. Они требуют особенной подготовки», — говорит художник.

Петр Наумович начал публиковаться после возвращения с фронта, когда в книжной графике работали такие мастера, как Бродаты, Горяев, Караченцов. В 1953 году он пришел в «Огонек». Общение с Орестом Верейским помогло определиться молодому художнику. Отныне стремление точно передать замысел писателя и изящество исполнения позволяют органично сосуществовать акварелям Пинкисевиича и текстам Куприна, Драйзера, Трифонова, Быкова. В сюжете художник ищет поворотные моменты, чтобы в одной журнальной иллюстрации дать образ целого произведения. Как он это делает? «В книжной графике нет рецептов, как и что делать. Нужен поиск, интуиция». Сейчас Петр Пинкисевиич работает над циклом рисунков к романам В. Гюго.

Ирина ЧЕРКОВСКАЯ



КПЗ В ЛАВРЕ



ПРИБЛИЖАЕТСЯ ОДНА ИЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ВЕХ ИСТОРИИ — ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ, КАК СКАЗАНО В ЖУРНАЛЕ «КОММУНИСТ» (№ 12, 1987 г.). «ВВЕДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В КИЕВСКОЙ РУСИ РАССМАТРИВАЕТСЯ... КАК СОБЫТИЕ НЕ СТОЛЬКО РЕЛИГИОЗНОЕ, СКОЛЬКО СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ОКАЗАВШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ НАШЕЙ СТРАНЫ». ОТСЮДА БЕРУТ СВОЕ НАЧАЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ ОТЕЧЕСТВА, И В ЧАСТНОСТИ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ — СВОЕОБРАЗНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ И НАУК, ШКОЛА ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ СЛАВЯНСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ КНИЖНЫЙ ЦЕНТР, НАКОНЕЦ, ЧУДЕСНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗОДЧЕСТВА. СЕГОДНЯ «ОГОНЕК» РАССКАЗЫВАЕТ О НЫНЕШНЕЙ СУДЬБЕ ЗНАМЕНИТОЙ ЛАВРЫ.

Владимир ПОТРЕСОВ,
специальный
корреспондент «Огонька»

КПЗ — это не то, что вы подумали. Это аббревиатура Киево-Печерского заповедника, по крайней мере в методических разработках этот термин встречается чаще, нежели Лавра.

Киево-Печерский монастырь упоминается в «Повести временных лет» — это первый пещерный монастырь на Руси. С этим памятником вообще органично связано слово «первый». Здесь впервые был введен Студийский устав, в этом монастыре Нестор-летописец впервые за всю историю отечества искал ответ на вопрос: «Откуда есть пошла Русская земля». Первое каменное сооружение — Успенский собор — стало образцом подобных сооружений. Монастырь стал первой лаврой, здесь истоки первой в Киеве высшей школы — Киево-Могилянского коллегиума.

Еще в XII веке здесь возникла первая больница, в монастыре работали первые древнерусские художники — Алипий и Григорий. А сколько великих людей видели древние стены: Серапион, Дионисий, Никон Великий, Нестор-летописец, целители Агапит и Дамиан. Лавру посещали Ломоносов, Пушкин, Гоголь, Лесков, Лев Толстой, Шевченко.

Я упоминаю об этом не с целью ликбеза, а для того, чтобы разоблачить, как бездуховность одержала здесь победу, как смог прилипнуть к памятнику казенный, канцелярский термин — сокращение, как бюрократическое крючкотворство, бесхозяйственность в своем худшем проявлении пытаются выморочить в Лавре память о славной истории родной земли, о великих деяниях наших предков.

2

Когда проходишь темные своды Троицкой надвратной церкви, отделяющей территорию Лавры от шумной киевской улицы, в глазах рябит от золота куполов, вкрапленных в

лазурное небо. Отреставрированные недавно кельи соборных старцев радуют нетронутой белизной. И так завораживает окружающая красота, что не сразу замечаешь и свежие трещины, потеки на стенах, и зеленый забор явно строительного предназначения, и возвышающуюся над ним стрелу крана, и треногу буровой установки.

Да, первое впечатление от «парадного фасада» полностью вводит в заблуждение посетителя об истинном состоянии памятника. Территория Киево-Печерской лавры, на которой расположен Государственный историко-культурный заповедник, — 24 гектара. Здесь более ста каменных сооружений, из коих половина — памятники истории и культуры.

Сейчас здесь задворки. Закопченные, утратившие первоначальный облик здания опутаны, как змеями, трубами воздухопроводов. На стенах насупых отремонтированных палат блестят вывески многочисленных контор, за ними ухают, скрежещут, режут какие-то механизмы. Парадным строем стоят торчком кабельные катушки. Беспреданно сигнализирующие машины снуют от корпуса к корпусу, распуская вконец растерявшихся экскурсантов, обдавая их из-под колес грязью, а из кабин — лихими словами.

И это в Лавре, где пароконная повозка не смела проехать!

Пояснение дает директор Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника Юрий Демьянович Кибальник:

— На нашей территории размещено сейчас больше тридцати подрядных организаций. Среди них — музеи, учреждения культурного назначения. Но девятнадцать — совершенно непрофильные. У каждого свое хозяйство, дирекция, автотранспорт. Например, «Укркультмонтаж», изготавливающий сценическое и другое оборудование, имеет в распоряжении прессы и прочие тяжелые станки. Их работа разбалтывает старые фундаменты, наносит ущерб всему лаврскому холму. Раньше строение принадлежало обществу охраны памятников, выпускались сувениры, значки, подарочная керамика. А потом предприятие перестало существовать, и помещение передали для выпуска спортивного инвентаря.

На территории заповедника, — продолжает Кибальник, — Институт микробиологии и вирусологии, контора «Укрнефть», Вычислительный центр Минфина УССР, редакции журналов, мастерские художников. Еще в 1985 году Совет Министров УССР принял решение об отселении некоторых организаций. Но пока выселена всего одна. Уезжать им из Лавры, по сути, некуда. Дефицит музейных помещений, занятых арендаторами, приводит к тому, что почти все экспонаты находятся в хранилищах...

К вопросу о том, почему реликвии и сокровища нашей культуры лежат под спудом, мы вернемся чуть позже. А сейчас обратимся к тому, как используются собственно музейные помещения Лавры.

Церковь Спаса на Берестове расположена в северной части заповедника, как раз за спецгаражом — о наличии этого автотранспортного предприятия директор заповедника умолчал, видимо, из скромности. Посетителям рассказывают, что здесь похоронены Мономаховичи, в частности сын Владимира, основатель Москвы Юрий Долгорукий. Любуются экскурсанты и прекрасно сохранившимся фресковым панно XII века.

Рассказывают еще, что большая композиция «Чудесный лов рыбы» открылась взорам, когда дислоцированная рядом на земляных валах старой Печерской крепости батарея дала первый залп салюта в честь очередного праздника. Поздняя штукатурка осыпалась, и выглянула необычайно колоритная, оригинальная картина.

Худо без добра, как известно, бывает редко. Не знаю, было ли все так на самом деле, но то, что уже эта фреска XII века находится под угрозой, могу засвидетельствовать: во время апрельского субботника из помещения церкви Спаса было вычерпано двадцать четыре ведра воды — сам считал! Причина одна: полная бесхозяйственность.

В еще более страшном положении находятся знаменитые пещеры. Когда-то безвестные теперь мастера расценивали удивительный многокилометровый термостат-лабиринт, в котором веками поддерживались постоянная температура и определенная влажность. Свойства пещер позволяли хоронить таким образом, что остан-

ки мумифицировались. Здесь обрели вечный покой Нестор-летописец, создатель «Повести временных лет», древнерусский иконописец Алипий, лекарь Владимира Мономаха Агапит, продолжатель Киевского летописного свода Никон Великий.

В последние десятилетия покой усопших великих предков был нарушен валом экскурсий, пантеон превращен в банальный аттракцион, с потолка веселыми ручейками потекла вода, стали рушиться каменные своды.

— Необходимы срочные меры для спасения памятника, — в голосе научного сотрудника Е. А. Воронцовой звучит мольба, — ведь погибнет же, и очень скоро! Пещеры практически не изучены, состояние их, а также находящихся здесь экспонатов и мумий только ухудшается. Монахи закрывали пещеры в сырые дни, сейчас же они открыты круглый год. Поэтому отмокают стены, текут потолки, гибнут мумии.

Непролазная грязь, свалки непонятно откуда взявшегося здесь бытового мусора, вывороченные бетонные плиты, разрытые траншеи, кольца кабеля... Через все это скачут экскурсанты. Можно, правда, провести их специальной наклонной галереей, но не всегда: зимой она превращается в каток.

3

Как же получилось, что Киево-Печерская лавра, этот «музей музеев», оказалась в таком состоянии? Куда уходят те миллионы рублей, которые выделяются государством на реставрационные цели, облагораживание территории, поддержание садово-парковых ансамблей памятника?

Оказывается, причины самые распространенные: недостаточность квалифицированных кадров и отсутствие единого подрядчика. Своей реставрационной базы в Киеве просто нет, существуют лишь две межобластные мастерские. Реставраторы, которые заняты все же в Лавре, стремятся выполнять лишь выгодные работы, например, золочение куполов, и не важно, что само здание стоит на гнилом фундаменте. Выгодно реставраторам одеть в леса как можно больше зданий — ведь установка и разборка лесов составляют около половины стои-



мости ремонта, который, по их мнению, вполне может подождать. Комплексы работ в Лавре выполняют восемь проектных организаций, а общего координатора этих работ нет. Единным подрядчиком мог бы стать Киевремстрой, да что-то не рвется.

В Киеве я встретился с Героем Советского Союза, летчиком, воевавшим в дивизии Покрышкина, Василием Ефимовичем Бондаренко. Сейчас он председатель общественной инспекции Союза писателей Украины по охране памятников природы и окружающей среды.

— Состояние Лавры мне хорошо известно, — рассказывает Бондаренко, — двенадцать лет я был заместителем председателя Украинского общества охраны памятников. Считаю, что вина за то состояние, которое вы видели, ложится во многом на дирекцию заповедника. Ведь реставрация, по сути, не ведется, делается лишь косметика, составляются липовые процентки, дефицитные материалы списываются. Недавно был свидетелем: из главных ворот Лавры выходят двое рабочих с полными ведрами строительных растворов и материалов. «Куда?» — спрашиваю. «Да тут, — отвечают, — начальник велел квартиру отремонтировать». Но за всем этим стоит и нечто более серьезное. Ведь освоение средств лишь за счет дорогостоящих работ — то же воровство у государства. Бесконтрольное перемещение транспорта по территории заповедника также чревато всяческими хищениями. Известно, что пропадали могильные плиты, которые затем в «преобразованном» виде оказывались на современных захоронениях.

Скверное состояние территории и памятников Киево-Печерской лавры неизбежно сказывается на культуре экскурсионного обслуживания. Туристы удивляются, когда узнают, что по количеству и качеству фонды Лавры приближаются к фондам Оружейной палаты. Но они же поистине поражаются скудности и примитивности экспозиций выставок.

Руководство заповедника жалуется на недостаточность выставочных площадей, но так ли это? Например, на территории Лавры действует выставка голограмм, которая стоила, видимо, немалых денег и занимает вполне обширное экспозиционное помеще-

ние. Конечно, голография — дело новое и интересное, но при чем здесь Лавра? Можно было бы еще понять назначение выставки, если бы на ней демонстрировались экспонаты из фондов музея. Но этого нет, как вообще нет и выставки, посвященной истории Лавры.

Мне повезло, я был в тех самых фондах музея, где собраны сокровища заповедника, доступ к которым совершенно закрыт для посетителей. Поверьте, глаза разбегаются. На мой недоуменный вопрос, почему же все это не выставляется, научные сотрудники отвечают:

— А кому это интересно? Ведь большинство предметов культового назначения.

Убедить, что в каждый предмет, покоящийся на длинных столах, обтянутых темным сукном, вложены талант, умение и великая художественная фантазия самого народа, мне не удалось.

4

Немного о геологии. Лавра стоит на лессовом холме. Под ним слой глины, лежащий на материковой плите, которая наклонена в сторону Днепра. Интересны свойства лессовых пород: пока сухо — могут выдержать большое давление, а намокшие, полностью теряют прочность, как сахар.

Пишу я об этом потому, что в последнее время гидрогеологические условия здесь прямо-таки угрожающие. Вообще район Лавры и вокруг нее склонен к оползням. Происходят они из-за того, что влага, намочив лесс, добирается до глины, которая, как известно, скользкая. А учитывая наклон материковой плиты, огромные массы грунта скатываются вниз. В Киеве это случалось неоднократно.

Лавру от оползней удерживали хитроумные гидротехнические расчеты и труд монахов. Сложные системы водоводов не давали воде проникать в глубь холма. Колодцы Антония и Феодосия сбрасывали «излишнюю» влагу под водоносный слой, специальные сорта винограда поддерживали необходимый режим увлажнения, подпорная стенка де Боскета защищала пещеры от оползней.

Сейчас система водоводов испорчена, колодцы засыпаны. Нет давно садов и виноградников, разваливаются подпорные стенки. Стоки многочисленных предприятий, расположенных здесь, неизбежно попадают в холм. Где-то что-то все время прорывает, течет, капает. Территория заповедника перекопана, разорена, вытоптана, так что влага в этих колодинах и выбоинах постоянна.

— Запланирована постройка коллатора, в который будут убраны все водонесущие артерии, — поясняет директор Ю. Д. Кибальник, — проходка будет вестись щитовым методом. За дело возьмется Метрострой.

Многие специалисты считают активное внедрение в толщу холма весьма рискованным, учитывая его геологическую структуру. Но дирекции будет важно другое — гигантские, с размахом работы. Ведь даже водосточные трубы на зданиях оторваны, вокруг грязь и свалка, зато «коллектор» — последнее слово науки и техники.

Во многом спорным кажется решение приступить к воссозданию Успенского собора в Лавре. Этот действительно уникальный храм был взорван во время фашистской оккупации в ноябре 1941 года. Его постройка должна как бы отвечать возмущенным экскурсантам: «Ну и что ж, что рушатся потолки в древних кельях, что из того, что осыпаются фрески, не беда, что погибнет два-три километра подземных галерей, зато какой гигантский «новодел» мы вам поставили, любуйтесь!» Несмотря на то, что вокруг новостройки не утихают страсти, вопрос о восстановлении решен. В прошлом году просторную Соборную

Так историю не хранят.

Фото
Николая КОЗЛОВСКОГО
и автора



площадь перекрыл забор, были завезены бетонные плиты, установлена строительная техника.

Или другое. Во время прогулки по Лавре я заметил на многих зданиях в непосредственной близости от Соборной площади свежие трещины.

— А это от мороза, — объяснил Ю. Д. Кибальник, — зима холодная случилась. Вот от перепада температур стены и полопались.

— Трещины на древних стенах, — член консультативных комиссий по восстановлению Успенского собора О. П. Силин разворачивает схему заповедника, — появились в окружности с центром в той точке, где ставили эксперимент по укреплению фундамента с применением свай. Работы по их установке разбалтывают холм, многие здания от этого пришли в аварийное состояние. Сейчас срочно эвакуируется музей книги из бывшей типографии. Другие здания не лучше...

Мы привыкли, к сожалению, что гораздо проще строить имитацию памятника, чем поддерживать заповедник в надлежащем состоянии, что обошлось бы гораздо дешевле, а главное, сохранило бы подлинность. И потому стоит ли восстанавливать Успенский собор до тех пор, пока не будет отреставрирована вся Лавра, благоустроена территория, закончены на ней все исследовательские и научные работы. Ведь здания Лавры серьезно пострадали, когда загнали лишь двадцать четыре сваи, а их должно здесь быть сотни. Не исследованы подземные ходы, расположенные под фундаментом собора, нет единства среди специалистов о методе укрепления фундаментов.

Тем не менее остатки сооружения уже расконсервированы и интенсивно разрушаются. Археологи, которые в срочном порядке вели раскопки, бросили их на зиму раскрытыми. Развороченная стройплощадка в центре Лавры грозит создать условия для упомянутого уже оползня.

5

— Если руководство заповедника не справляется со своими обязанностями, мы возьмем бразды правления в свои руки, — сообщили мне молодые сотрудники музея. — В нашем городе чтут и ценят памятники исто-

рии и культуры, мы надеемся собрать археологов, геологов, историков, тех, кто на общественных началах согласится участвовать в создании комплексной программы по спасению Лавры. Очень надеемся на помощь Института кибернетики АН УССР, который смог бы смоделировать поведение холма при различных условиях. Это будет наш вклад в перестройку отношения к национальным историческим святыням.

Я не сомневаюсь, что Киев откликнется на призыв молодых работников музея: в гостиницу мне постоянно звонили люди самых разных профессий, просили оказать поддержку в сохранении заповедника, неповторимого облика Киева, его многочисленных памятников.

И здесь снова хотелось бы вернуться к причинам, приведшим Лавру к столь плачевному состоянию, ведь энтузиазм молодых и забота жителей о своем городе — дело хорошее, но существуют специальные государственные организации, отвечающие за сохранение памятников истории и культуры.

В первую очередь, мягко говоря, удивляет отсутствие в Киеве, одном из древнейших городов нашей страны, собственной реставрационной базы. Если такая организация в Киеве будет создана, работой она будет обеспечена на долгие годы. Оставляет желать лучшего и организация работ по воссозданию исторических памятников: пресловутое отсутствие единого подрядчика сводит на нет нескоординированные усилия разных строительных организаций.

Непонятна позиция Министерства культуры УССР, которое, кроме непрофильной аренды помещений Лавры, практически ею не интересуется. Недостаточен интерес к сохранению уникального памятника и со стороны городских советских и партийных органов, иначе чем объяснить упорное нежелание вернуть музею не по назначению используемые исторические здания Лавры.

В деле сохранения памятников нет и не должно быть мелочей. Только скоординированная, ответственная работа по спасению Киево-Печерской лавры позволит сберечь ее для будущих поколений, снять с нее «непрофильный» ярлык — КПЗ.

Москва — Киев.

ГОРОД СКРИПОК

Геннадий ЗАФЕСОВ

В сумерки пьядца Маджоре становится самым оживленным местом в Кремоне.

Похоже, здесь все друг друга знают: город небольшой, да и сама площадь больше напоминает клуб, где всегда встретишь кого-то из знакомых.

Туристы подолгу стоят, любуясь самой высокой в Европе колокольной и фасадом собора. По утрам над еще дремотной, не совсем проснувшейся площадью робко пробует голос скрипка. Немногие прохожие стараются ступать потише, а то и вовсе останавливаются.

ля, где Аполлон играл на очень похожем инструменте, у которого было, правда, девять струн (по числу муз), а не четыре, как мы привыкли видеть. Может быть, гению Рафаэлю дано было предвидеть появление нового инструмента? А быть может, он кистью лишь вызвал зрительный образ инструмента, в рождении которого люди испытывали неоформившееся, смутное желание. Как бы то ни было, родившись в первой половине XVI века, скрипка быстро завоевала мир.

По мнению людей сведущих, мастерски сработанный инструмент достигает всей гаммы звучания где-то через 50—60 лет и при должном обращении не утрачивает ее еще в течение многих десятилетий. Вполне серьезные и квалифицированные специалисты утверждают, что хорошая скрипка, долгое время пробывшая в руках выдающегося музыканта, и впоследствии несет в своем звучании индивидуальную окраску исполнителя.

Отцом скрипки справедливо считают Андреа Амати, создавшего ее формы и пропорции, которые практически не изменились до наших дней. Судьба скрипок, как и судьба людей, бывает разной. В житейских бурях творения одних мастеров повезло больше, другим — меньше. Сегодня в мире известно 650 скрипок Страдивари, 150 работ Николо Амати, столько же — Гварнери дель Джезу и только 10 — Андреа Амати.

Для изготовления скрипки высокого класса прежде всего нужно найти подходящую ель или клен не моложе 150—200 лет. В общем-то мастер должен уметь «читать» древесину, и здесь, по убеждению известного современного мастера Франческо Биссалотти, без интуиции не обойтись.

«Жаль, что ей нельзя ни научиться у кого-то, ни передать ее другим», — говорит он. Из пяти его сыновей по стопам отца пошли трое — Маурицио, Винченцо и Тициано.

После того, как мастер вместе с лесничим исходит километры, прежде чем выберет нужное дерево, начинается его распилка на пластинки приблизительно в два миллиметра толщиной. Затем без применения каких-либо химических препаратов эти пластинки выдерживают, или попросту сушат, где-нибудь в сухом, но обязательно проветриваемом чердаке. Процесс этот длится десять, а то и двадцать лет. Впрочем...

Впрочем, не каждый мастер может позволить себе такую роскошь. Биссалотти может, потому что делает скрипки только на заказ, и стоимость их не мала. В Кремоне и сегодня можно пересчитать мастеров подобного уровня по пальцам. Большинство же сначала изготавливают свои инструменты, а потом уже ищут на них покупателей. Всего в городе делается в год около тысячи скрипок.

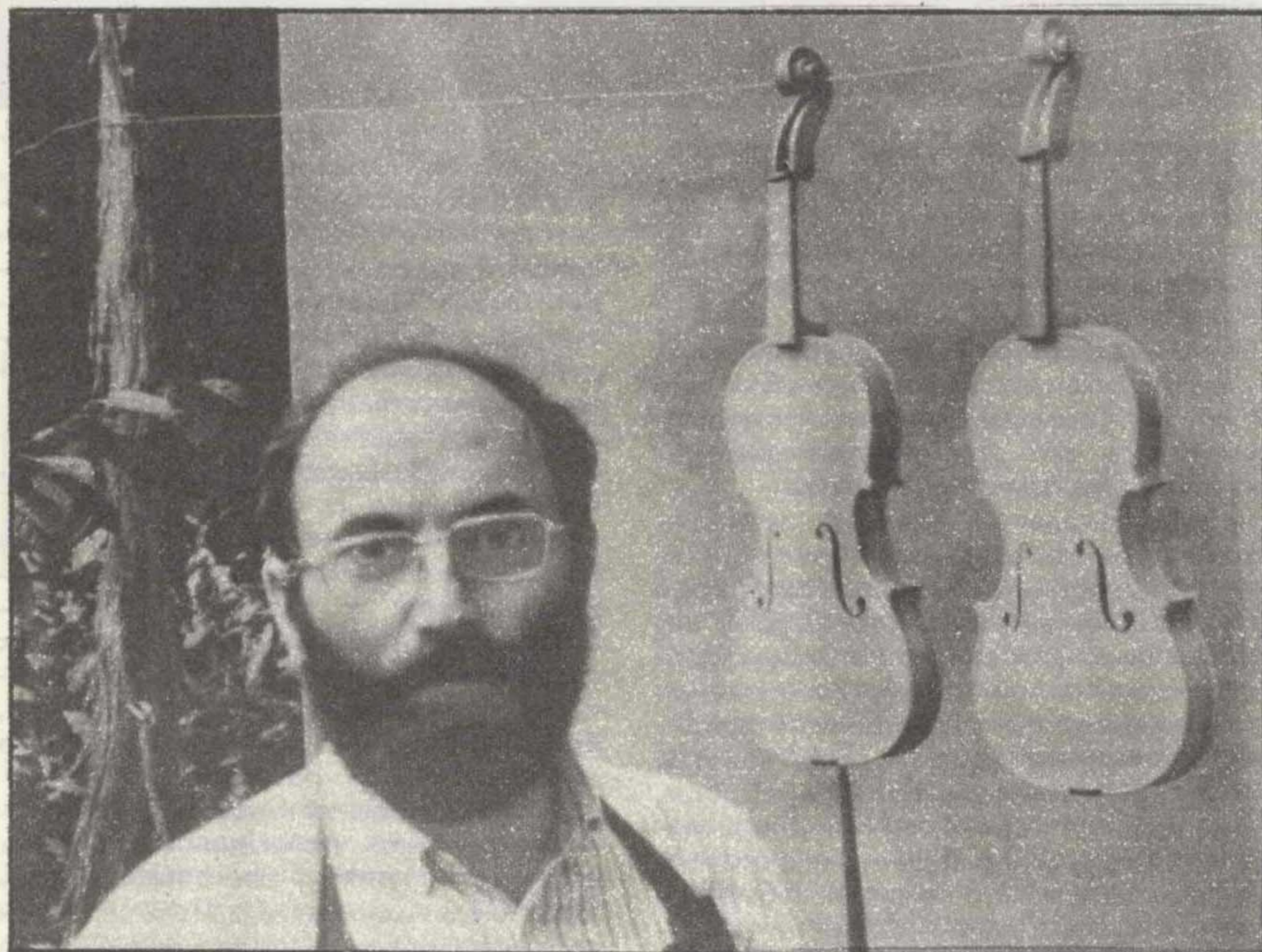
Мэр Кремоны Ренцо Дзаффанелла — человек динамичный, приветливый, открытый. Разговор начинается с воспоминаний о посещении Москвы, Ленинграда и Волгограда. «Ездил я туда, правда, не по скрипичным делам», — смеется мэр. — Обменивались опытом содержания рек и каналов, весьма для нас немаловажным. Что ни говорите, а в городе у нас три реки. Вообще-то если бы не скрипки, — продолжает он в том же шутливом тоне, — то Кремона, несомненно, прославилась бы своим молоком и животноводством. Конечно, чем бы ни занимался кремонез, я не знаю ни одного, кто не гордился бы нашими скрипками, и думаю, нам можно простить такую маленькую слабость. Наши скрипки, что мы отправляем в другие города и страны, — это наши посланцы культуры и гуманизма.

В этом году исполняется 250 лет со дня смерти Страдивари. Мы решили превратить эту дату в международный праздник музыки и дружбы. Уже проделали немалую работу. Кажется, удастся собрать 50 скрипок непревзойденного мастера. Пусть молодые представители разных стран, коснувшись смычком их струн, ощутят непреходящее наследие цивилизации и свою гражданскую ответственность, чтобы она сохранялась вечно.

Кремона — Москва.

● Мастер скрипок
Франческо Биссалотти.

● Знаменитая колокольная
в Кремоне. Фото автора



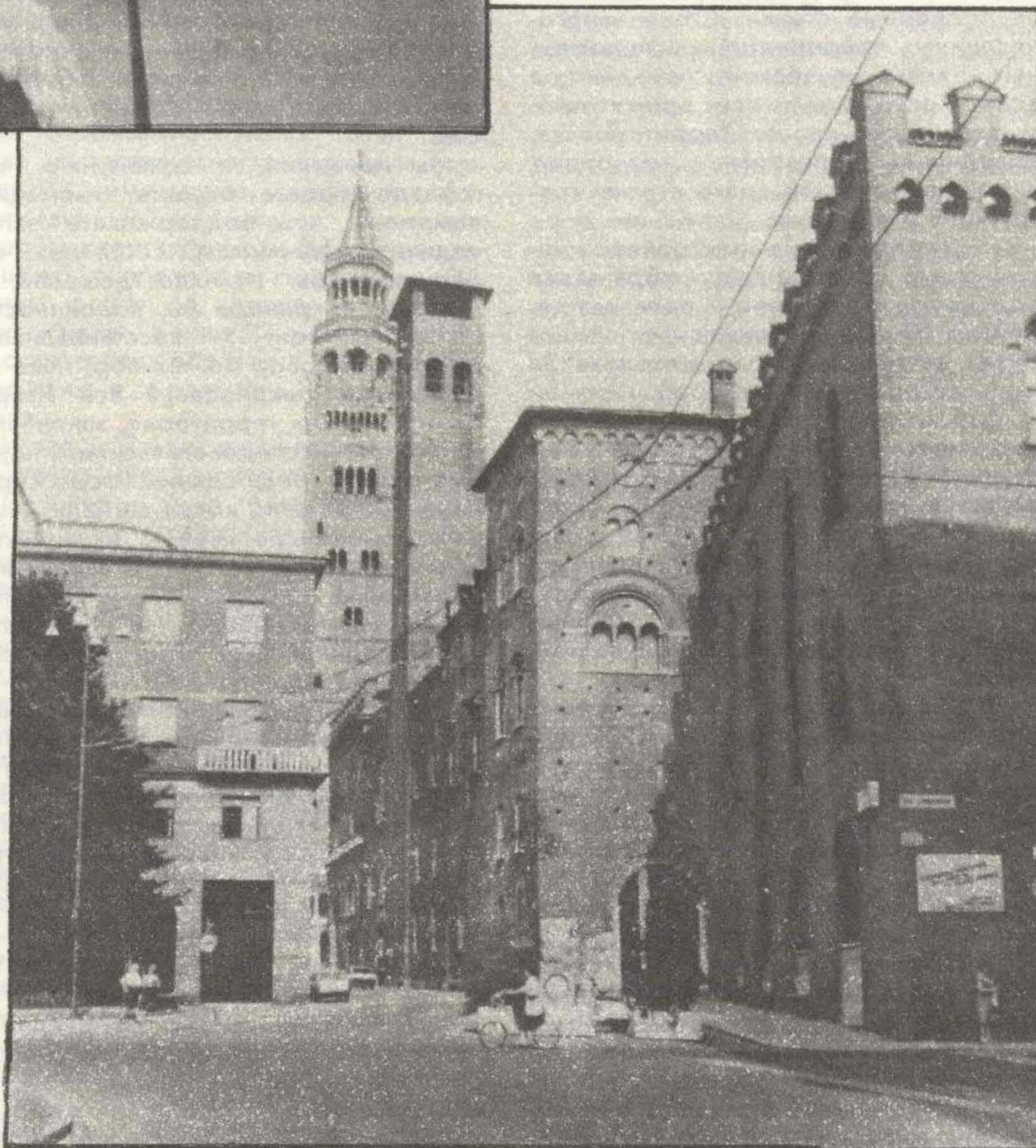
Пение скрипки на пьядца Маджоре означает, что во дворец, где расположен коммунальный совет города, пришел профессор Андреа Москони, хранитель музея скрипок и директор музыкальной школы Кремоны. Утро профессора начинается с того, что он проверяет «самочувствие» своих «подопечных». А потом он берет в руки смычок.

— Скрипка рождена, чтобы петь. Все, что вы здесь видите, — музейные экспонаты, но каждый из инструментов в любую минуту готов к тому, чтобы ошастливить своим звучанием самую изысканную аудиторию, — рассказывает А. Москони.

Экспонаты в небольшом музее поистине редкостные. Это шедевры, сделанные руками Андреа Амати — патриарха скрипичных мастеров, Николо Амати, Андреа Гварнери, Джузеппе Гварнери дель Джезу и, конечно, Антонио Страдивари.

— Парадоксально, но в Кремоне, где всю жизнь работали эти замечательные мастера, принесшие городу всемирную славу столицы скрипок, еще четверть века назад не было такого музея, — рассказывает профессор. — Он создан частью на общественные фонды, а частью на пожертвования отдельных лиц. Несмотря на то, что коллекция невелика, в ней отражена история кремонской скрипки.

Кстати, до сих пор документально не установлено место рождения первой скрипки; кроме Кремоны, заявляет еще свои претензии и другой итальянский город — Брешиа. Но в чем нет сомнения ни у кого — что ни один город не подарил миру столь блестящего созвездия скрипичных мастеров. Любопытно, что еще до того, как люди услышали скрипку, ее прообраз появился на одной из картин Рафаэ-



ПОЗНАВАЯ СУТЬ ВЕЩЕЙ

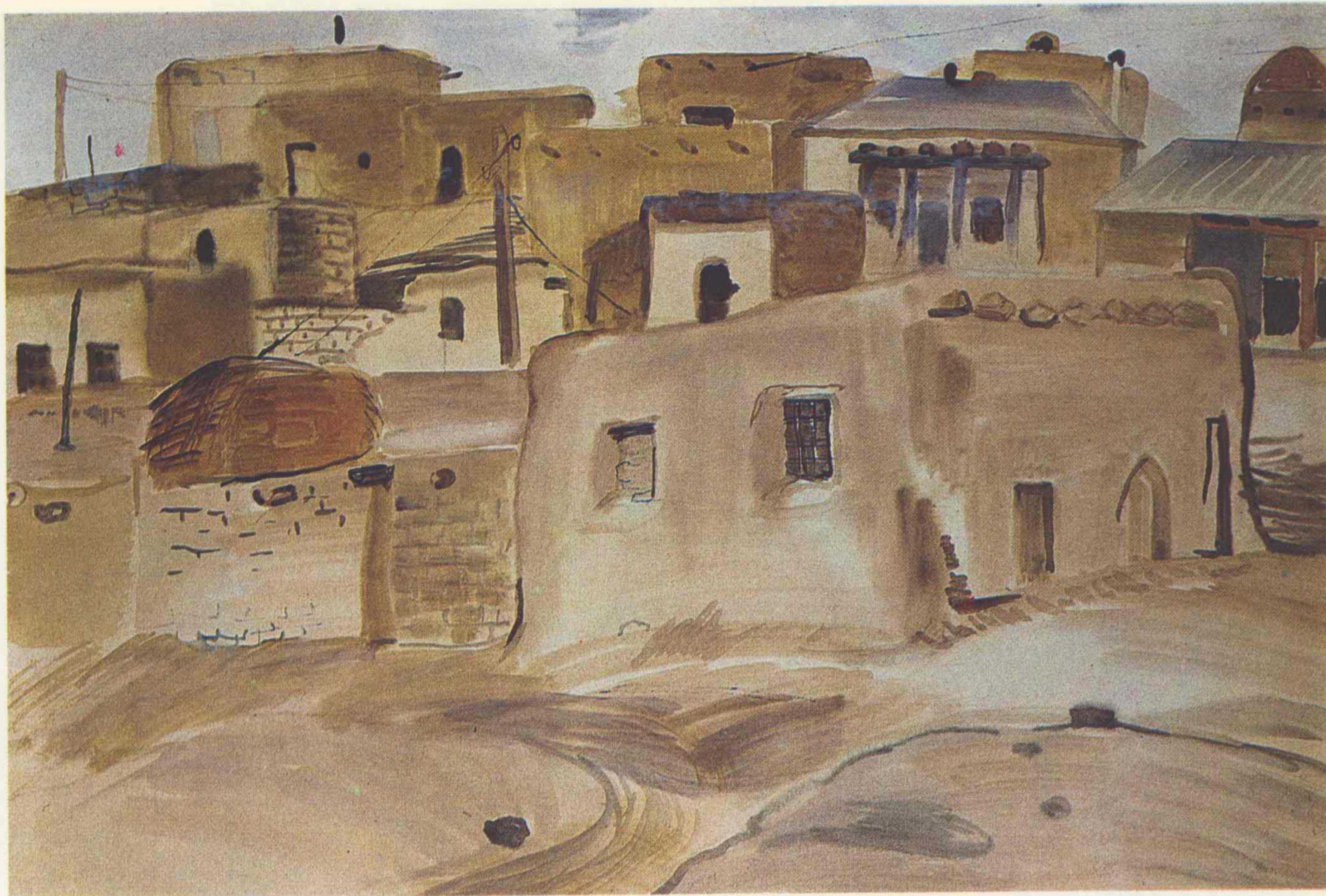
Татьяна ЛЮБИМОВА

Искусство — это неиссякаемый источник радости, не удовольствия или наслаждения, а именно радости. Мудрость подлинного искусства в том, что оно обращается не только к чувствам, разуму, но к самому сердцу человека. Или же к тому «сердечному уму», который в нашей обыденной жизни, когда мы полностью поглощены лишь обликами вещей и заняты только ближайшими практическими целями, как правило, спит.

Белла Оссовская — художник, и в полной мере им одаренная, и способная пробуждать его в зрителе.

Цветы на ее полотнах подобны мгновенной материализации светового луча... К сожалению, в нашей искусствоведческой и критической литературе, а нередко и в высказываниях самих художников господствует представление о том, что в иерархии жанров по их значительности пейзаж и цветы располагаются чуть ли не на последнем месте. Однако что может быть значительней для человека, чем природа, и что может быть ближе к жизни, чем цветы, этот гимн жизненной силе? Но у нас на вершине пирамиды жанров — парадные портреты, остросюжетные картины и исторические сцены. На мой взгляд, такое представление возникло от слишком узко и формально понимаемого назначения искусства как ответа на «злободневные проблемы».

Б. Н. ОССОВСКАЯ.
Род. 1938.
КОЙНЕ-КЕСИР. 1980.



СОПКИ
НОВОРОССИЙСКА.
1984.





ТЫРНОВО. 1980.

И следствием этой идеи о целях искусства стало скучное бытописание, «описательный реализм», о котором так верно сказал В. Распутин в книге «Что в слове, что за словом»: «Искусство... в спешке принялось на манер кино вести документальную запись происходящего... Оно и сейчас в большой своей части занимается протоколированием, — конечно, своими средствами и своим языком, но не выправлением и не излечиванием. И это при том, что у человеческой души остался один патентованный врачеватель — исходящее от нас с вами искусство».

В изображении природных явлений, пейзаже, цветах таится не только и не столько экологический смысл, призыв мудрого отношения к природе. Акварели Б. Осовской изящны и разнообразны, здесь есть радость и печаль, драматизм и тревога, покой и глубина. Человечество на протяжении всей своей истории видело в цветке самый яркий символ жизни, космоса и вселенной, цветок может быть портретом и души человека, и бытия в целом.

В пейзажах московской художницы корабли и дома — это тоже природа. Птица своим полетом идеально выражает сущность воздуха, также и корабль, формы которого отшлифованы вековой мудростью наших предков, в своем облике выражает суть природных стихий. И мы видим вслед за художником, как мудро все со всем соразмерено, если все — природа; как нежен ее покров, какая совершенная мера во всем, и тогда достигается столь вожаденная цель всякого искусства — очищение, то, что в античности называли катарсис.

ЦВЕТЫ НА ОКНЕ. 1985.



Рукопись оказалась в обычной редакционной почте, обратный адрес: поселок Заречный Белоярского района Свердловской области. Профессия автора — мастер по ремонту реактора.

С первых же страниц записки «мастера по ремонту» привлекли внимание и были прочитаны, как говорится, на одном дыхании. На другой день из «Огонька» в поселок Заречный ушло письмо.

Николай Гощинский сообщал, что он родился в 1955 году. Отец — физик, мать — врач. В 1978 году окончил физико-технический факультет Уральского политеха. С этого же года работает на Белоярской атомной станции.

Пишет уже несколько лет. Пока «в стол», нигде не печатался.

«Я, мастер, руками «латающий» старый реактор атомной станции, все чаще задумываюсь, не слишком ли дорогой ценой оплачиваются ошибки в атомной энергетике, — писал он далее. — Мы слишком быстро привыкли к надбавкам к зарплате «за вредность» и успокоились. Мы слишком легко усвоили с детства, что человек может все, что он вселен, а потому прав. На глазах не одного поколения глумились над природой «для пользы дела», разрушали памятники. И что удивляться — природа не выдержала. Она преподала урок, и урок страшный.

Не нравучений хотелось мне — правдивой картины всего того, что увиделось там, в Чернобыле. Чтобы не давало покоя прочитанное».

Удалось ли это автору? Судить читателям. Но нам кажется, что удалось.

Удалось — и это важно, ибо надо вновь и вновь склоняться перед героизмом тех, кто ценой своих жизней отвел в Чернобыле ужасную угрозу от миллионов, — но надо и анализировать обстоятельства наших бед, дабы не повторялись они.



УПОЛО ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ...

Николай ГОЩИНСКИЙ
Фото Игоря ГАВРИЛОВА

Слово пришло ранним утром. Когда по дороге, краями которой растут яблони-дички и розовые кусты, текут люди.

По той самой дороге, что упирается в фасад главного корпуса станции.

На нем — изображенные анфас борода и высокий лоб ученого. Все в обрамлении электронных орбит. И все массивный чугун, все черное.

Слово возникло где-то в людском потоке и поползло, извиваясь змейкой. Вспыхивало то тут, то там, цепляло обрывки фраз и, входя в уши людей, обретало вдруг такой смысл, в который нельзя было верить: слишком немислимым было все, окажись правдой.

Но это была правда. Опутанная клубками слухов и разговоров.

ЧЕРНОБЫЛЬ

А там, в Чернобыле, вот уже двое суток как начали умирать, гибли люди, которые и не знали толком, от чего они умирают.

Те первые...

И больше суток вдыхали весенний теплый воздух дети и женщины, которые были рядом в городе и тоже не знали, чем они дышат.

А если бы и знали, то ничего бы не поняли.

Поверить невозможно в то, что рядом гуляет смерть, если в небе сияет солнышко, если ветер с реки ласково шевелит траву, поднимая легкую пыль.

Лишь немногие, скорее неясно и смутно, догадывались, чем знали о том, что произошло. Но и они не могли ничего объяснить и предпочитали молчать: в первые же часы были обвинены в паниктерстве те, кто, поняв все размеры происходящей беды, не хотел и не мог молчать.

Все — и те, кто молчал, и тот, кто говорил, — были первыми в схватке и не прятались за чужие спины.

А кое-кто из тех, от кого зависели жизнь и здоровье людей в округе, занимались спасением собственных семей. Спасали, вывозя ночными дорогами подальше от пораженной зоны. Спасали самое дорогое и близкое, чтобы к утру появиться, возглавить и рапортовать по инстанциям, что обстановка тяжелая, но все контролируется.

Но они не знали, что апрельская ночь уже поделила жизнь многих людей на две неравные части. Две, одна из которых вмещала в себя все прожитое до аварии. Другая, пока неизвестная, — все то, что будет после нее. В сущности, это были две разные жизни для большинства из них. Для некоторых, часто лучших, одна.

Все это уместилось в каких-нибудь двое суток, включая и запоздавшую на тридцать часов, но блестяще проделанную эвакуацию населения. Двое суток уже горел на АЭС графит расколотого взрывом реактора. Но об этом еще не знали, и жизнь огромной страны текла своим чередом.

Когда просочились первые слухи, закрутились ручки приемников. Пытались поймать хоть крупинку информации. И голос совсем незнакомого интонаций глухо звучал в одиннадцать вечера. Пожар на АЭС. Эвакуация населения. Создана правительственная комиссия. Обстановка продолжает оставаться крайне тяжелой.

Голос не наш, необычный, чужой.

Но это было сообщение ТАСС. В войну Левитан не так говорил. Что-то новое. Подавляют и страшат слова.

И когда первые струйки информации потекли из программы «Время», процеженные и отжатые пугливой чьей-то рукой, когда зазвучало открытым для всех текстом «Авария на Чернобыльской

АЭС», — на станции с розовыми кустами начали понимать: в Чернобыле произошла катастрофа.

МЫ

— Ну, что? — спросила она упавшим голосом, так что я сразу понял: ей уже известно. Тем лучше.

— Что... Ничего особенного.

— Рассказывай!

— А чего рассказывать. Ну едем. Вызвали срочно, и вылетаем завтра рано утром.

— На сколько?

— Пока на месяц, а там не знаю. В общем, давай дома поговорим.

— А кто еще едет?

— Савельев и еще кто-то третий, я пока не знаю.

— Ну и что ты сейчас... пойдешь домой?

— Да, получу вот деньги и пойду. И ты приходи поскорей.

Упавший и усталый у нее был голос. А мы ведь были не первыми, перед нами в начале мая уже уехало четверо. Теперь был конец мая, и ситуация там несколько иная. Так мне казалось.

На сборы нам дали не так уж мало: в обед сообщили, что пришла заявка на двух человек, и вылетать уже завтра, утренним рейсом на Киев. Таким образом, полдня у нас было. На то, чтобы сообщить эту весть женам, оформить командировки и собраться.

Прощаясь, я торопился, к тому же насморк мучил, который прихватил три дня назад, и я неловко топтался, а в мыслях давно уже был вне дома. Она же все понимала лучше и никак не хотела разжать объятий, не отпускала меня. Так оно все и запомнилось. Слова же потом как-то стерлись из памяти.

У каждого из нас было по-своему, и мчала нас в ночи директорская «Волга», унося от привычного тепла, а впереди — неизвестность: куда едем — сами не знаем. Две-три фамилии в записной книжке, несколько телефонов в Москве и Киеве, куда обратиться в случае надобности, — это все, чем мы располагали. Ну да еще головы были, языки. Весело ехали.

Киев встретил солнечным светом, слепящими свежими брызгами поливальных машин. Их было великое море, они поливали буквально все: стены домов, витрины магазинов, асфальт улиц. На улицах стояли столики. Люди ели за ними мороженое, пили «Фанту» и «Пепси». Полураздетые по-летнему женщины спешили по делам. Накрашенные девчонки сидели по скамейкам — прозрачные блузки на голое тело, сидели хихикали, обсуждая прохожих.

И никакой подавленности. Была суббота, и город спокойно отдыхал; в аллеях и на улицах бродили толпы народу.

Была все же странность. Мы поняли, хотя и не сразу: на улицах совсем не было детей, не слышно было их голосов. Никто не кричал, не бегал у фонтанов, никто не просил мороженого — город, в котором остались одни взрослые. Город без детей. словно тот Крысолов сыграл на своей дудочке и увел неизвестно куда.

Мы и не знали, что пройдет месяц, и мы отвыкнем от детей, как отвыкнем от многого другого, чего и не замечали в покое и мире, но чего нет и так не хватает там, у очага аварии. Хотя три кита, три основы существования: сон, пропитание, баня, без которых не обойтись человеку, — обеспечены всем, кто приехал.

В штабе, что на Крещатике, нам сказали, что о том, кто нас вызвал, могут дать справку этажом ниже. Там тоже никто ничего не знал, и нас отослали в партком. Было жарко, и люди в парткоме в одних рубашках, с закатанными до локтей рукавами, хотели помочь нам, но мы уже чувствовали, что здесь, куда приезжают толпы таких, как мы, ничего нам узнать не придется.

В штабе шумно, как в балагане. Маленький юркий диспетчер что-то сбивчиво толковал в телефонную трубку. Одновременно рука его записывала наши фамилии.

— Так... это кто у меня?.. Ага, вот в полтретьего в Чернобыль уходит «Ракета», поедете на ней! — кричал он нам в лицо. Спокойно говорить здесь уже не могли.

— Значит, с девятого причала... нет, с одиннадцатого... Лена, — оборачиваясь к кому-то, — ты не помнишь, с какого причала сейчас уходит «Ракета»?.. Ну ладно, неважно. Вы вот что, пока погуляйте, а к двум часам надо быть здесь.

Мы кивали и впитывали информацию. Невесть бог какую, но, может быть, ясность наступит в Чернобыле. По крайней мере там находился человек с нашей станции, от которого все мы зависели по работе.

— А Захаров знает? — спросил я маленького диспетчера, который уже отвернулся и говорил с какой-то женщиной, державшей кучу бумаг.

— Чего? — спросил он, глядя поверх моего лица. — Такого не знаю. Там сейчас много всяких, да вы сами разберетесь, когда приедете. — И он залистал свой журнал, уже отключившись от разговора.

Мы действительно уехали с девятого причала. Правда, никто из служащих порта даже не знал, что это за причал и что и куда с него ходит. Но капитан заорал снизу: «Кто на Чернобыль?» — и люди, услышав, кинулись на «Ракету».

Мы плыли по реке. Справа тянулись степи... Я видел на них летящих в буйном разливе коней и всадников, обнимавших коней за тугие шеи. Клубилась шлейфом пыль от набегавших копыт; красные щиты прикрывали плечи, играло солнце на шипаках.

Дым истории мерещился там, где всего лишь пыльный проселок и поля, уходящие к горизонту.

Слева были холмы. Там только что кончился Киев и начинался Вышгород. Виднелись дома в окружении яблонь и каких-то еще деревьев. С середины Днепра и не разглядишь.

Прошли шлюзы. Подул свежий ветер. Потом вошли в устье Припяти.

— Вот и Чернобыль, — сказал кто-то.

Пыль. Пыль на прогнившем от старости дебаркадере, на жухлой листве и заборе, который отделял пристань от уходящей куда-то в гору дороги.

Три человека в белом дожидались «Ракеты» на пирсе, чтобы уехать обратным рейсом на Киев. В руках они держали полиэтиленовые мешки с одеждой, а лица выражали такое стремление забраться на палубу корабля, что было понятно — для них все закончилось, для них все уже в прошлом. Пустой «газик» стоял у обочины, а чуть поодаль одетый в поношенный пиджак и грязные сапоги старик встречал выходящих на дорогу с пристани людей протянутой в руке кепкой. Там краснела редиска, ядреная, свежeweымытая и собранная в пучок.

— Дедуля, редиской торгуешь? — улыбались люди. Но он только бормотал что-то негромко и протягивал руку с кепкой.

Пришли двое в промасленных комбинезонах. Они вышли откуда-то из-за забора и шуганули деда.

— Куда нам идти? — только и могли спросить мы.

— Откуда?

— С Белоярской АЭС. Не знаем, к кому обратиться...

— К штабу Минэнерго им надо, — подумав, заключил один.

— А как нам добраться?

— Да по этой дороге прямо и идите, — махнули они рукой. — Дойдете до площади, где райком, почта, там и увидите свой штаб. В здании райкома он находится.

— А много их тут, штабов?

— До чертовой матери! — хмыкнул один, а второй улыбнулся. — Да сами увидите, идите... идите скорей, может, еще на ужин успеете.

И мы пошли по дороге, ведущей в гору. Дорога тянулась вдоль берега, так что с одной стороны попадались невзрачные домишки с двориками, а с другой — был насыпан вал из серого песка, закрытый пленкой. Он должен был препятствовать попаданию сточных вод в Припять.

Мы шли, зарываясь носками ботинок в дорожную пыль, одетые в то, в чем прилетели из дому. Шли и старались не думать об этом. День подходил к концу, и следовало позаботиться о другом — где и как мы будем сегодня ночевать. К тому же мы проголодались.

Дорога поднялась на гору, мы стали встречать людей в зеленых и белых робах, в лепестках* и без них. На нашу одежду не обращали внимания. Проехали с шумом две поливальные машины с солдатами за рулем. Мы подошли к райкому.

В ШТАБЕ

Два этажа и комнаты, наполненные людьми, дымом от сигарет и телефонными звонками. Суета сует. То и дело проходят-пробегают люди, лица которых нам знакомы. Это начальники наших начальников. Мы — три песчинки в потоке, куда он нас занесет?

В комнатах «островки» главков объединений; комнаты заняты людьми по принадлежности, а то и просто по наличию свободного стола для работы.

«Товарищи! Помните, что стены здания ослабляют мощность излучения в 10 раз. Пользуйтесь зданиями как укрытием. Избегайте без надобности выходить на улицу».

«Пользуйтесь респиратором!»

Такие предупреждения по стенам.

На выходе из штаба — милиционер. Он потягивает из горлышка газировку. Проходя мимо, слышим, как он уговаривает кого-то надеть лепесток.

В одной из комнат разместился оперативный штаб Минэнерго. Там могут срочно связаться с Москвой, вызвать дежурную машину, заказать билет на самолет или найти нужного человека — могут все, кроме одного, — напрямую связаться со станцией. Скверно, это нам сейчас нужнее всего остального.

Дежурный по штабу почесал бороду. Хорошие серые глаза у него.

— Садитесь, ребята, значит, так и не знаете, кто вас вызвал. Ну, ладно, пить хотите?.. Разумеется... Попейте пока, а я соединюсь со «Сказочным».

В углу стоят ящики, они полны минеральной воды, «Пепси-колы», «Фанты», и все — бери — не хочу. Все пьют. И мы открыли бутылки. Похоже, с водой проблемы нет. Пить нужно много, чтобы много из тебя выходило той дряни, которую неизбежно вдыхают легкие и проглатывает желудок. Вот и завалили безалкогольные заводы Киева бесплатной водой Чернобыль и станцию. Коммуна!

— Никто что-то про вас не знает, братцы, — сказал бородатый, положив телефонную трубку. — От вас ведь тут Захаров где-то должен быть. Давайте-ка я вас отправлю сейчас в «Сказку». Устройтесь там, поужинайте. Там и разберетесь со всем.

— А как же с работой?

— А подождите вы с работой, не торопитесь! Не все так быстро. Значит, заказываю машину... и вот вам талоны на первое время... на питание. Езжайте, а там все образуется.

Он отрывал нам талоны, а головой уже держал телефонную трубку для нового разговора, прижав ее ухом.

Так мы отправились в «Сказку», точнее, в бывший пионерлагерь «Сказочная поляна», возле деревни с красивым названием Иловница (елочка). Он расположен километрах в двадцати от Чернобыля и тоже входит в тридцатикилометровую зону, откуда эвакуировано население. Пустует Иловница, но полон жизни «Сказочный», где живут те, кто участвует в ликвидации последствий аварии.

Солнце последними лучами осветило маленькую площадь, где стояло с десяток машин «Скорой помощи», «газонов» и «Волг», и скрылось за крышами. На стене противоположного здания висели, поникнув, два флага — там находился штаб Министерства обороны.

Кружило воронье и каркало высоко в небе. Вокруг — ни ветерка. Подъехала дежурка. Мы, подстелив под себя газеты, которые оказались в сумках, устроились рядышком в салоне и покатили, глядя на пробегающие за окнами дома и улицы Чернобыля. Тогда еще они были немногочисленны.

То здесь, то там попадались люди в защитных робах и чепчиках, военные в зеленых кепочках-«афганках».

Тихим был этот вечер тридцатого мая в Чернобыле.

Мы ехали в «Сказочный», чтобы найти концы своей командировки, и надеялись, что сегодня же все выяснится и мы начнем работать.

ДЕЙНЕГА

Глазищи у нее, сожмет — станут щелочки, от этого лицо напоминает лисью мордочку. Смуглая и жилистая маленькая женщина с интересной такой фамилией Дейнега. В небольшом, вертком ее теле неожиданно густой низкий голос. Послушаешь первые же ее стремительные два-три слова, увидишь, как вскидывает она по-мальчишески голову в разговоре, и надолго запомнишь. Олененка напоминает тогда она. Олененка, который избежал пуль и вырвался из облавы.

— Лена, ну что же там делали двадцать шестого?

— Полы мыли.

— ??

— Собрали нас с девочками по команде и бросили на маззал, мойте, говорят. Мы и мыли.

— Сколько же вы взяли?

— Да кто ж замерял... Одна вот уже в Москве. Я, как видите, пока ничего.

— В лепестках хоть мыли?

Вздых и движение рукой — о чем, мол, ты говоришь. Тем девочкам лет по сорок, плюс-минус, что называется. Ей примерно так же, только при ближайшем рассмотрении.

Когда мы приехали в «Сказочный», в штабе сразу же определили, что нами займется Дейнега. «Кто такая?» — спросили мы. — «Из цеха дезактивации, зовут Еленой Николаевной». Крикнули на весь лагерь по громкой, и она появилась и заговорила, нет — запела грудным своим голосом. А глаза светились и хлопали большими ресницами. «Лена», — представилась и тут же увела нас и стала знакомить в два счета со множеством каких-то людей. Тут были Сережи и Шаши, какой-то Борис Иванович, еще много других, кого потом и не встретишь. Потом я понял, что люди здесь боялись одного — одиночества, и это сближало и тянуло к общению совершенно незнакомых людей. Людей, потерявших свои дома, утративших семьи, разбросанных кто-где, детей, жен, мужей.

Я наблюдал встречу мужа с женой. Мы вместе стояли в очереди за обедом. Она подошла к нему. На ней был все тот же комбинезон, как и на нем, на мне, на всех, кто был в этой столовой, похожих друг на друга таких непохожих людей.

— Привет, — сказала она.

— А, здравствуй, — сказал он.

— Зайди в бухгалтерию, — сказала она.

— Хорошо, — кивнул он, — зайду.

— Я думаю съездить на послезавтра в Киев...

— Давай, — согласился он.

Она посмотрела куда-то в сторону.

— Да, Галя прислала письмо, я тебе передам. Прочитаешь.

Мы приумолкли, давая людям поговорить. Их руки так и не соприкоснулись ни разу. Он взял поднос с едой и отошел от раздачи.

— Ну, ешь, — сказала она, — привет.

— Пока, — сказал он и направился к свободному столику.

Мне попадались и другие варианты. Чернобыльская семья не живет под одной крышей, не делит совместно ложе и не ведет хозяйства. Она встречается от случая к случаю и говорит о меркантильном, далеком, сугубо по делу, не вдаваясь в эмоции. Она говорит, чтобы хоть что-ни-

* Лепесток — респираторная повязка ШВ-1.

будь говорить, ибо все дорогое и прожитое вместе лежит за чертой, в прошлом. Непросто и не хочется в разговоре переходить за черту, не хочется возвращать боль и горечь.

У чернобыльской женщины где-то был муж, а дети жили в пионерлагерях у моря. Это была «золотая клетка». И родители, и сами маленькие «эмигранты» понимали это. Виделись очень редко, и дети не могли попросить: «Возьмите меня домой», — ведь дома не было. А до новых домов было еще далеко.

Лена забывалась в работе, как и все те, кто не покидал Чернобыль с первого дня аварии. Не так уж и много таких было.

Она устроила нас на ночлег. Мы попытались напомнить ей про работу, она же сказала, что главное сейчас — это устроиться, все остальное потом, завтра. «Похоже, вас вызвал Розанов, я даже уверена, это он. Вот завтра поедете в Чернобыль, найдете Розанова, он с вами все и решит».

Мы засыпали. То была первая наша ночь в Чернобыле, и не думалось нам о доме. Пройдет десять дней, и каждый из нас вспомнит свое, загустит, затоскует. Но это придет своим чередом, а пока мы засыпали на чужих раскладушках, под чужим одеялом. Их владельцы были на вахте. Про смену белья здесь еще не слыхали, и люди не обижались, застав на своей постели незнакомого человека. Спать всем надо.

Наутро мы не застали Дейнеги и больше уже с ней не встречались. Она уезжала на отдых, лечиться. Но однажды, когда я уже вернулся домой, листая свежий номер «Работницы», наткнулся на очерк о ней и портрет. Фотограф, передавая чисто внешнее сходство, не сумел передать того, что в ней нравилось. С фотографии, хитро прищурившись, смотрела женщина-лисица. Она крепко сжимала маленькие руки и не хотела позировать. К сожалению, не было там мужества в сочетании с женской хрупкостью. И я не увидел способности помогать другим в такие минуты, когда самой нелегко.

Многое слышали мы о Лене. По-разному говорили о ней. Но я запомню ее именно такой, дающей ночлег и тепло там, где его не хватает.

ДОРОГА НА КОПАЧИ

Она протянулась из Чернобыля в Припять. Километры асфальта.

Шестьсот метров из них тянутся вдоль дороги рясы сосны — высохшие иглы, черные обожженные стволы. Радиоактивное облако, оторвавшись от станции, гонимое ночным ветром, пересекло здесь дорогу и, не останавливаясь, потащилось дальше, усеивая землю не дождем и не снегом.

Черный змей, роняя поганую пыль с чешуи, летит, заражая кругом и лес, и поле, и реку. И лижет красный его язык, оставляя лишь рыжую полосу за собой.

На северо-запад тянется до горизонта широкий след.

Деревья стоят неживые и долго так будут стоять, напоминая о том, что было.

За километр до опасного места на дороге — контрольный пункт. Цементный одноэтажный заводик, десятка два домиков. Здесь, в Копачах, разгружают бетоновозы, идущие из-под Киева. Раствор перегружают в станционные машины, которым уже не выехать из тридцатикилометровой зоны, слишком они «грязные». Работа идет круглые сутки.

От этой вот перегрузки, от движения сотен машин густая пыль стоит над Копачами.

Нам в Припять не надо, и мы, как и большинство машин, поворачиваем направо, минуя КП, и выезжаем на объектную дорогу. Через три километра она приведет к станции.

Для нас дорога на Копачи — это каждодневные полтора часа езды на автобусе или крытом грузовике, смотря что подвернется. Мы изучили ее наизусть. Забитая машинами, политая коричневым, вязким пылью «сиропом», который распыляют с вертолетов, она успела надоесть нам. И все же мы смотрим.

В мае ее расширили вдвое. Зеленые тополя закрывают обочины от примыкающих полей.

Обширное кладбище. Не кресты на нем — брошенная зараженная техника. Большие автобусы, «Скорые», солидные «Волги», «газики», «Жигули» и еще черт знает что — все было там. Технику бросали впопыхах, где попало. Теперь сволокли сюда, и вся она «светит». Бери, отмывай от радиоактивной грязи, чтоб уровень был допустимым и дозконтроль не придрался, — и едь. Так многие делают.

Зеленели поля, которых не убирать. Не слышно птичьего щебета, когда отойдешь от дороги... Мертво все и тихо. Вернешься — все те же

белые роботы, да шум моторов, да вереницы машин.

Грибок-остановка, везде они одинаковы: бетонный козырек, разноцветная плитка. Скамейка, на которой никто не сидит.

Проезжая по Копачам, мы наблюдали, как пили и ели с ладони, из котелка, как резали колбасу и хлеб солдаты. Все они — и молодые, и старые — обслуживали КП и мойку. Последняя представляла собой десяток автоцистерн с гибкими шлангами и сточные ямы, вырытые в песке и выложенные пленкой. Они мыли машины, возвращающиеся со станции. Мыли, сбивая пенной струей глубоко въевшуюся радиоактивную грязь. Потом они скидывали защитные плащи и отдыхали, курили, мусоля сигареты губами, пили воду и принимали пищу.

То, что они делали, было совсем неладно. Мы вмешивались, объясняли, пугали их цифрами, сверкая глазами и не находя нужных слов. Они как будто не слыхали и даже надевали лепестки. Трясущиеся на переносице очки, серьезные обороты речи, борода — все это заставляло уважительно относиться к нашим словам. И мы, пользуясь случаем, пытались везде, где могли, убедить солдат защищать свои желудки и легкие. Потому что мы знали, а они — нет, что все серьезней, чем та «внешняя» радиация, о которой они слышали. Однако мы понимали, что их презрение к средствам защиты неистребимо. Люди совсем не готовые, не знающие меры опасности проникновения радиоактивности внутрь организма, люди, не уважающие и не верящие в средства защиты и гигиену, должны были жить и работать в таких условиях. Няньку ведь не приставишь к каждому.

Срывали с лица лепестки одуревшие от жары и тяжелой работы солдаты, омывающие из брандспойтов машины на мойках; срывали шахтеры в туннеле под аварийным блоком — срывали, позировав для программы «Время» в сыром полумраке шахты. Утрит, заглянув в объектив, такой работа-пахарь тяжкий пот со лба, посмотрит гордо: «По хрену мороз!» — и расплывется улыбкой на сером от грязи лице.

Опускались наши руки. Махали нам вслед наши знакомые и вытирали ладонями горлышки у бутылок с водой. Через пять, может быть, через десять лет могут начать барахлить и отказывать органы — придется расплачиваться.

Но это еще не скоро...

Далеко, дома, мы и не представляли, насколько нужны были здесь люди, знакомые с радиацией не по романам. Умеющие делать дело и защищаться. Большинство выполняло только первое, не думая о втором.

Дорога на Копачи стоит у меня перед глазами. Я вижу июньский вечер, накрывший деревню своей тенью. И на скамейке у домика, что на краю у дороги, сидят две старухи. Я помню клюку у одной, платочки, тряпье на плечах и взгляд, обращенный на нас, уезжающих к людям. Откуда взялись они в Копачах, безмолвных и брошенных? Ведь всех собирали, чтоб увезти, и если что — ходили по домам, уводили силой. Никого не должно тут остаться. Да вот сидят, из самой земли выросли, что ли... А может, пришли умереть там, где жили.

Пожухла трава, одинок старый дуб на пепелище...

КОМЕНДАНТША

Дом наш в Чернобыле представлял собой двухэтажную старую развалюху. До «войны» (т. е. до аварии) в нем размещалось медучилище, поэтому комната, где стояли наши раскладушки, была наполнена множеством поражающих воображение предметов. По стенам висели плакаты с кровавыми мышцами освеженного человеческого тела. На полках с книгами стояли растерзанные руки и гипсовые головы с веревками мышц на шеях. Самым видным и притягательным во всей комнате, бесспорно, было чучело гориллы-самца. Выполненное в полную величину, оно было мохнатое и клыкастое, с длинными крючковатыми пальцами на мощных руках, опущенных книзу. Мне пришлось привыкать к нему несколько дней, и, привыкнув, я полюбил его: эти красные глаза, буйный приплюснутый нос с вывороченными ноздрями; было в нем что-то здоровое, независимое, живое. Живое и не зависимое от распыления экстремальной жизни и «грязи» на полу, на книгах и на одеялах, которыми мы укрывались. И еще от общения с нашей комендантшей, которое не приносило радости.

Она появилась в один из дней, когда мы, успев обжиться, думали, что нет никому до нашего житья (кроме соседей, естественно) дела. Она появилась с внезапностью комара, когда его раздражающий уху писк возникает в комнате, — по-

явилась и начала тихо гудеть. Сначала под ее руководством была проведена «чистка» полов. Их подмели и протерли влажными тряпками. Потом были вынесены из комнат и сложены лишние раскладушки вместе с матрасами. На этом ее деятельность закончилась, и она уgomонилась у себя в комнате на первом этаже. Других комнат там не было, и она заняла ее — единственную женщину в нашем доме.

Долгое время оттуда слышались попеременно то звук телевизора, то хрипы истертых пластинок. Так продолжалось два дня. Потом вдруг она потребовала у нас паспорта для прописки. Мы, разумеется, подчинились, хотя и не совсем понимали, где мы будем считаться прописанными, — в гостинице, что ли? Но это скорее зверинец какой-то или кунсткамера со всеми нашими чудесами на стенах и полках.

Потом после обильных дождей пошли комары. И Катя — так ее звали — позвала повесить ей на окно марлю. Меня просить два раза не надо, рад услужить одинокой женщине. И вот сижу, помогаю кроить нужный кусок на окно. Передо мной над рулоном елозит ножницами крепко сбитая сероглазая женщина лет тридцати пяти. Темный пушок над губой, пигментные пятна на смуглом лице, а впрочем, вполне симпатичная. Какая бы ни была — ведь женщина, сидит рядышком и воркует. Растаял я, забыл про ее хватку. Она же болтала о какой-то ерунде и в мыслях была далеко от этой комнаты. Я огляделся, здесь была настоящая кровать, а не раскладушка, с чистым бельем, кружевной подушкой, а также шифоньер и стол. В углу громоздились два ящика с водой. У входа стояла обувь... То был какой ни на есть, но уют.

Мы вывесили марлю. Я стоял наверху и закалывал кнопки, а она стояла и смотрела у подоконника. Вроде все как надо — я спрыгнул, она сказала «спасибо», и я ушел.

Теперь уж, наверное, мы станем друзьями. Не тут-то было! Решив, что, по-видимому, взять с нас больше нечего, комендантша стала показывать зубы. Мы попросили марли от комаров, и она дала, но как-то так получилось, что ходили за этой марлей мы целых два дня, хотя выдать ее было пятиминутным делом. Я попросил ножницы, обещав сразу вернуть их, но, замотавшись, как-то забыл про это. Ножницы остались на столе, мы рано утром отправились на работу, а вечером Катя довольно резко заявила, что ножницы она за такой проступок больше не даст. «Ну и черт с тобой!» — озлобились мы. — Здесь еще нервы тратить». К комендантше больше не ходили, не вели разговоров и только здоровались при встрече, да и то холодно.

Мне надоело спать на раскладушке: неудобно, когда спина прогибается, и я соорудил лежанку, бросив на пол пленку и два матраса. Голову приткнул к ногам моей обезьяны, так что ночью было похоже, будто это Кинг-Конг. Он пришел к своей милой и сейчас бросится... Мы веселились, а Катю это почему-то задело. Она намекала, что на полу вроде лежать не положено. Как не положено, когда неудобно? Я заявил, что спать буду там, где сплю, — еще не хватало не выспаться по ночам. И вообще все это наше дело, за чистотой следим, а ущемлять себя не позволим. И все в таком роде. Она поняла, что голыми руками нас не взять, наморщила носик и ушла. Мы долго ее не видели.

По вечерам стали нахаживать мужчины. В одинокую и «пачками», плясали и пели. Вскоре комната на первом этаже уже всех не вмещала. И Катя стала принимать гостей в зале — большой комнате через стенку от нашей. Теперь приходило по десять человек, и некоторые приезжали на казенном транспорте. Шумно было под окнами, когда собирались все эти «джентльмены» на своих лимузинах. Шумели и за столом. Бывала закуска, и было гостям весело. Однажды вся компания куда-то двинулась на всю ночь, и кто-то из наших уверял, что Катю увозила «Волга».

Нам стало надоедать. Проводя на работе двенадцать часов, трясаясь по дороге и не зная выходов, мы стали сдавать. Нервы пошаливали, что-то должно было случиться. Все накопившееся раздражение — на самих себя, на работу, на Катиних гостей — должно было прорваться, и случай представился.

Однажды, вернувшись с работы, мы обнаружили расставленные по коридору охапки цветов в ведрах. Гремела музыка, лился смех. Катя справляла день рождения. Нет хуже ничего, чем слышать за стеной чужое разгульное веселье. Тем более когда сам устал и хочешь покоя. Но приходилось терпеть, и мы терпели, пили чай, расписали «пуюлю». В двенадцать улеглись и попытались уснуть. Тщетно! Веселье достигло точки кипения. Стены дрожали от буйного пляса, пол и вовсе ходил ходуном. В час ночи я почувст-

вовал, что скрежещу зубами. В полвторого мы резко встали и, кто в чем был, зашли туда, где гуляли. Один из нас дернул шнур, и музыка смолкла. Их было человек пятнадцать: холеных мужиков и каких-то женщин. Стол ломился от сыра и колбасы разных сортов, мясных и рыбных консервов. Стояли бутылки, стаканы...

С сорвавшегося нашего сна все это изобилие — и стол, и водка, и «хари» — казалось ужасно гнусным. Мы видеть не видели таких разносолов в столовых, в которых питались. У нас потекли слюнки, и души исполнились черной завистливой яростью.

«Хамье! — орал нам. — Здесь женщины, могли бы одеться!» Запахло дракой, но мы еще сдерживались. «Прекратить безобразие!» — отвечали. — Времени два часа ночи, нам в шесть утра на работу и работать до вечера...» «Ну так что же, нам тоже на работу!» — горячились буйные головы и придвигались к нам. Но Катя не дала разгореться конфликту. Она помрачнела, но говорила своим: «Расходимся тихо и мирно». Настроение было испорчено. Гости начали расходиться и громыхали в коридоре обувью. «Мы еще встретимся!» — орал нам в комнату, но мы уже засыпали. Все они были какие-то «свеженькие и одеты с иголочки, в новые, хорошо подобранные комбинезоны. Это удастся тогда лишь, когда есть возможность порываться в одежде. Обычно берешь что дают: иногда и того нет. Ни одного из них я на станции больше не видел.

Наутро, собрав все обиды и горечи, невысказавшийся и злой, я отправился вниз для решительного разговора с комендантшей. Ребята были настроены еще круче и предлагали сообщить куда следует, однако мне все это представлялось сомнительным: кто знает, куда следует? Да и вообще донос — некрасивое дело. Словом, решив напоследок еще раз припугнуть комендантшу, я отправился вниз.

Она сидела на прибранной постели с альбомом в руках. Разбросанные по кровати цветные открытки изображали Припять, город, где она жила. С одной фотографии смотрела девочка лет пяти. На другой была Катя: в легком платье и туфлях, она разрезала на каком-то торжестве ленту. Заметив мой взгляд, она тихо сказала:

— Это моя дочь.

— А еще есть кто-нибудь? — спросил я.

— Да, сын старшенький.

— И где же они?

— У моря.

— А вы одна?

— А я одна.

И, резко захлопнув альбом, она поинтересовалась уже другим голосом:

— Что-нибудь надо?

Я было открыл рот и вдруг увидел: передо мной сидела женщина из города Припять, города, которого уже нет. Сидела с красными глазами, без детей, без дома. Она сидела, разбросав по постели фотографии, как обломки своей прошлой жизни, которую уже не собрать, не склеить.

И я махнул рукой. Закрыв глаза и потушил огонь... «Смените полотенце, — сказал, — я принесу старое». «И это все?» — спросила она. «Все».

Она молча кинула полотенце из стопки. «Смотри, чтоб принес! — сказала и добавила: — И вообще давайте потише, надоели вы мне».

А потом я пошел к себе и весь день, как только мог, старался быть тише.

КТО БЕГАЕТ НА ПЛАЦУ

На работу мы определились таким вот образом. На кровати в маленькой комнате лежал, разметав простыни, человек. Был душный полдень, и в комнате пахло несвежим бельем, потом, бессонницей. Человек пытался заснуть, но у него не получалось. Мы поздоровались. Немного смутившись, он сел на кровати и сунул босые ноги в носки, как в тапки. Сквозь очки на меня глядели усталые, чуть с хитринкой глаза.

— Не знаете, где Розанов?

— Знаю, — почесав кончик уха, ответил человек на кровати и вздохнул. — Розанов — это я, ребята.

— Значит, мы к вам! — засуетились мы, боясь упустить и эту возможность определиться в дело.

У него был чуть сипловатый голос; говоря, он доверительно «подсматривал» из-под очков. Розанов — начальник цеха дезактивации. Он приехал с Кольской АЭС со своими людьми в начале мая. Для них работа началась с неизвестности. Пришлось им ползти в местах, где после аварии не ступала нога человека. Были и женщины среди них, старые, молодые, и все в одной упряжке мыли полы, приборы и все, что требуется, без скидок на настроение, усталость или возраст. Одним словом, хлебнули.

Нам предстояло принимать у них «вахту», но пока мы не знали об этом. Печальный и почерневший от «недосыпа» и усталости, пахнущий спиртом, Розанов сказал, обнадежив:

— Хоть я и не вызывал вас, но вот, может быть, Логинов... Он у меня двое суток не вылезет с блока. Да, наверное, это он. Вы располагайтесь пока, а вечером он появится.

Логинов был у него мастером. Мы расположились, как могли, в нашем заповеднике. Хотели спросить про белье, но не стали — хватило ума. Попросту заняли спальные места тех, кто жил здесь до нас и уехал.

Вечером появился Логинов, круглолицый и приятный на вид, но совершенно ошалевший. Он тут же улегся спать, и поговорить не удалось. Наутро, часов около восьми, мы вздумали разбудить его, однако вышло так, что мы уже опоздали: он был на работе.

Так мы и ходили за ним, пока не поймали. Я долго не мог понять, почему с неохотой и настороженностью шел на контакт Логинов и позднее те, с кем мы познакомились из розановской команды. Понять пришлось, когда подошло время сдавать дела самому. Когда тебя осаждают вопросами, цепляются за рукава и требуют, чтобы ты объяснил, рассказал, показал, как это и принято в нормальной жизни, с обидой думаешь: «А что мне показывали? А как же я доходил, где и что лежит, и у кого спросить, и как ответить...» Ребятам с Кольской никто ничего не показывал, некому было. Везде — радиация, кто знает, в каком месте она смертельная, а где можно пройти или постоять. Ходили с приборами, но с ними тоже проблема — черт знает как их доставали: везде по всей стране они есть, только не там, где нужно. Хорошо еще был один свой. Военные иногда давали прибор и дозиметриста. И того, кто бы знал помещения внутри корпусов, тоже не было, разве что приблизительно. И не было в неразберихе ни карт, ни схем. А время шло.

То, что они сделали, мы оценили вполне. Оценили позднее. И в том, что нам легче было идти по известным маршрутам — идти дальше и сделать больше, — была их заслуга. Им не подсказывал никто. Мы располагали информацией. Те, кто пришел после нас, получили подробный отчет о работе и шли по обжитым местам. Это закономерно.

На другой день мы с Логиновым выехали на станцию. То, что там было, не укладывалось ни в какие рамки. Хотя я и ждал чего-то особенного, странного, все было не так.

Большая, как озеро, лужа перед Главным корпусом.

В ней десятки брошенных механизмов, машин, зарытых колесами в грязь.

Большим муравейником гудит Главный корпус. Снуют то и дело десятки людей, мелькают лица. Рябит в глазах от знаков военных различий. Хаос? Нет, есть свои законы.

Газоны затоптаны сапогами. Тысячи ног проходили по ним. На месте у памятника, где цвели георгины, теперь происходит «развод» техники и людей — теперь это плац.

Два раза на дню здесь выстраиваются расчеты, чтобы, заслушав команду, отправиться на работу.

Без громкоговорителя не обойтись, не перекричать эту кучу заказчиков с безумными глазами.

— Десять АРСов и вышка... Кто заказывал?

— Я!!! — взрывается сразу несколько голосов.

— Давайте по очереди...

— Чьи десять «КамАЗов»?

— Сюда! Сюда! Товарищ подполковник...

Техники всем не хватает, только тому, кто успевает первым. В этом фатальная неизбежность: сам генерал не ответит, почему, заказывая десять «КамАЗов» и три получив, будешь счастлив...

С личным составом попроще.

И люди в белых робах уводят солдат, чтобы вооружить их тряпками, ведрами, сухим порошком для мытья. Они будут мыть, драить, протирать — будут делать все изо дня в день, пока не очистят стены и кровли, не отмоют полы и поверхности оборудования внутри здания.

Это произойдет.

Но в первые дни в такое верилось слабо.

Три дня ходили мы на работу с Логиновым и убеждали, что словами ничего не выразить. Он просто не мог, да и не хотел; почувствуйте сами, тогда будет легче и разговаривать.

Мы включились в работу. И бежали по плацу, и разводили солдат по объектам. И лазили там, где надо. Мы пили вместо обычной воды минеральную и радовались горячей пище в обед. Но то уже другая история...

Окончание следует

ЕЩЕ

НАСЛЕДИЕ

Наталья ИЛЬИНА

С Анной Андреевной Ахматовой я познакомилась в Голицыне, в Доме творчества писателей, август — сентябрь 1954 года. Наши добрые отношения, тогда возникшие, продолжались до ее кончины. Мои записки о встречах с Ахматовой были опубликованы журналом «Октябрь» в 1977 году, а затем вошли одной из глав в книгу «Судьбы» (1980 г.) под заголовком «Анна Ахматова в последние годы ее жизни». В книге «Дороги и судьбы» (1985 г.) я дала этой главе название более конкретное: «Анна Ахматова, какой я ее видела». Не все, что я могла и хотела сказать об Ахматовой, возможно было в те годы опубликовать. Эти пропущенные страницы я и предлагаю сегодня вниманию читателей.

Вот рассказ о наших с Ахматовой прогулках ранней осенью 1954 года по тогда еще не мощенным голицынским улицам.

К тому времени Ахматова перенесла уже два инфаркта, ходить ей было трудно, а без провожатого, без поддерживающей руки и вообще невозможно. Прогулки наши были недалекими — до ближайшего лесочка и обратно. Отдыхали на пнях, сидели на деревянных скамейках. Больше молчали, чем говорили. Я тогда очень робела в ее присутствии. Не знаю, о чем думала она, когда молчала, я же думала только о ней. В голову постоянно приходили ее стихи, я и не знала, что столько их помню наизусть... «И всюду клевета сопутствовала мне». «Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен». Глядя на лицо Ахматовой, замкнутое, строгое, я вспоминала: «Во мне печаль, которой царь Давид по-царски одарил тысячелетью».

Ее жизнь была мне известна лишь в самых общих чертах. Единственный сын — Лев Николаевич Гумилев — в заключении. После постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» Ахматова была исключена из Союза писателей и перестала получать работу. О, с каким горьким стыдом я вспоминала свою статью в шанхайской газете «Новая жизнь», горячо это постановление поддержавшую! Я была на стороне ее преследователей, а она не знает об этом, но — узнает. Я ей скажу, я непременно скажу! (Я и сказала, но лишь через год, а в ответ услышала: «Да что с вас взять? Ведь вас здесь не стояло!» Эту пародию на реплику, нередко доносящуюся из очередей, я услышала тогда из уст Ахматовой впервые. Еще не раз она обратится ко мне с этими словами!) А той осенью пятьдесят четвертого года во время наших прогулок я сознаться еще не осмеливалась. И ни единого вопроса задать не осмеливалась, а она ни звука о себе не произносила. Лишь однажды, уж не помню в какой связи, Анна Андреевна сказала: «Стихотворение «Клевета» Сталин принял на свой счет, он все принимал на свой счет! А ведь это стихи двадцать первого года, когда я и слыхом о нем не слыхивала!»

ОБ АХМАТОВОЙ



Она говорила, и лицо ее утратило свою спокойную величавость. Рот кривился насмешливо, ноздри раздувались, глаза, как писали в старых романах, метали молнии. И в самом деле: метали молнии! Я еще не знала тогда, как часто мне предстоит видеть это лицо, вот так же искажавшееся гневом при упоминании имени Сталина...

В декабре того же 1954 года Ахматова из Ленинграда приехала в Москву делегатом на Второй съезд писателей. Остановилась в гостинице «Москва», где занимала просторный двухкомнатный номер, деля его с какой-то ленинградской писательницей. Эта дама, к счастью, отсутствовала, когда я пришла навестить Анну Андреевну. Мы сидели рядом на диване, и я не помню, с чего начался наш разговор, помню лишь, что Анна Андреевна постоянно удерживала меня, стоило мне сказать какую-нибудь фразу полным голосом: «Т-сс! Тише!» Прижимала палец к губам и этим же пальцем указывала на потолок. Быть может, я пыталась поздравить ее с тем, что вот, мол, как все славно, она опять член Союза писателей, мало того — делегат! А ведь я и не знала, когда и почему ее вернули в Союз писателей, удивительно мало я еще знала в то время... И очень была поглощена своей жизнью, ее неустройством. Из Шанхая только что приехала моя мать. Поселилась у друзей в Трубниковском переулке. «Там ей плохо, — жаловалась я Ахматовой, — глубокий подвал, комнатка без окна, и вообще...» Меня перебивали: «Т-сс!» — и палец в потолок. Но ведь я говорила о вещах невинных, кто угодно мог их слушать! Предосторожности эти казались мне излишними, чуть ли не смешными, а с другой стороны, радовало, льстило доверие Ахматовой. Она так недавно со мной знакома, она не знает меня, но, значит, уверена в том, что я ей предана. И она права. Но раньше-то, раньше... Ведь я автор той постыдной статьи, опубликованной в шанхайской газете. «Чем бы вас угостить? — тем временем говорила Анна Андреевна нормальным голосом. — Быть может, купить вина?» Я тут же вскочила и выразила горячее желание пойти в буфет и принести вино. Это была первая бутылка сухого вина, которую

мы распили с Анной Андреевной. А разговаривали в основном шепотом.

Лето 1955 года. Ахматова в Москве у Ардовых, на Ордынке. Недалеко от их квартиры, у самого моста, был сквер, куда Ахматова иногда ходила подышать воздухом. И вот теплым летним вечером мы с ней сидим на скамье и, как всегда, больше молчим, чем говорим. Сквер пуст, если не считать какого-то пожилого человека на дальней скамейке. Одинокий этот гражданин заинтересовал Анну Андреевну, она все поглядывала в его сторону, затем сжала мою руку: «Видите?» «Вижу». «Понимаете?» Я догадалась: ей кажется, что этот человек очутился в сквере не случайно. «Понимаю». «Вот так у меня всегда!» — четко и гневно произнесла Ахматова. И добавила: «Пойдемте!» Мы встали, мы пошли, и время от времени она требовала, чтобы я обернулась. «Идет он за нами?» «Мне кажется, нет. Не вижу его. Много прохожих». «Идет непременно! Идет, будьте уверены!» Я совсем не была в этом уверена. Таинственный гражданин, возможно, там на скамейке и остался. Вышел, как все, подышать воздухом. Но противоречить Ахматовой не смела. И права не имела! В эту страну я приехала семь лет тому назад, уверенная в том, что я знаю, КУДА еду, а затем, ГДЕ нахожусь, и вообще прекрасно во всем разбираюсь. Друзья мои и я, выросшие за рубежом, верили советской печати, а иностранной и эмигрантской не верили. И мы считали: можно, и находясь вдали от страны, ее понимать. Достаточно изучать классиков марксизма, читать советскую прессу, знакомиться с высказываниями товарища Сталина, и все тебе будет ясно. Эта ясность, однако, покинула меня еще до встречи с Ахматовой. Уже возникли тревожные сомнения. На невежестве основанная самоуверенность, с какой я позволяла себе рассуждать о здешней жизни, постепенно исчезала. Могу ли я противоречить Ахматовой? Если не сейчас, не сию минуту за ней следят, то, значит, следили прежде! Не болезненная это подозрительность, а осторожность, рожденная опытом. Я проводила ее до дверей квартиры.

Осень того же 1955 года Ахматова провела в Ленинграде, а в конце ноября вновь приехала в Москву. Сюда привели ее дела, связанные с выходом книги переводов корейских поэтов, и самые главные дела: хлопоты о сыне. О сыне и хлопотах Анна Андреевна со мной не говорила, в это посвящались лишь самые близкие, самые давние ее друзья. От них-то я и знала о главной причине приезда в Москву Ахматовой. И видела ее лицо.

Приедешь к Ардовым, стучишь в дверь маленькой комнаты, слышишь: «Да!»,ходишь и видишь лицо Анны Андреевны — застывшее, окаменелое, мученическое. Оно тут же менялось, становилось домашним, добрым. «Входите, садитесь, вот пепельница!» А рядом с Ахматовой сидит ее старый друг Эмма Григорьевна Гарштейн, и я понимаю, что разговор у них только что шел о Льве Николаевиче...

...Фаина Григорьевна Раневская в начале пятидесятых годов получила квартиру в роскошном небоскребе на Котельнической набережной. В этот дом она въехала, когда он еще достраивался, из окон квартиры были видны работавшие во дворе заключенные. Раневская рассказала мне, что однажды приехавшая к ней в гости Ахматова надолго застыла у окна. Сказала, не оборачиваясь: «Вот и Лева где-то так же...» И помолчала: «Фаина! Я родила этого мальчика для каторги!»

Слова «лагерь» не было в лексиконе Ахматовой. Она заменяла его словом «каторга». И о том, ГДЕ ее сын, не забывала, мне кажется, ни на минуту...

Пройдет полгода, Льва Николаевича освободят, дело на него «за отсутствием состава преступления» будет прекращено, но в декабре пятьдесят пятого он все еще был «на каторге». Арестовали его в 1949 году. Это был третий арест: первый в

1935-м, второй — в 1938-м. В перерывах между арестами Гумилев успел проявить себя как незаурядный ученый. В сорок восьмом, едва освободившись, защитил диссертацию на степень кандидата исторических наук. Была осень. За два года до этого прогремел доклад Жданова. Анна Андреевна на защите сына не присутствовала. Опасалась, как бы ее «оплеванная персона» (так она называла себя) не повредила сыну...

Март 1956 года. Я жила тогда в очередной снимаемой комнате на улице Обуха. Ахматова часто бывала у меня. Говорили мы с ней о том, о чем говорили все: о Сталине. Известное хрущевское письмо читали вслух в творческих союзах, в редакциях, в учреждениях. Мне удалось попасть на это чтение в восьмую комнату Центрального Дома литераторов. Человек двадцать — тридцать сидели вокруг стола и на стульях вдоль стен. Читал А. Каплер голосом прерывистым, взволнованным, его слушали, замерев, опустив головы, глаз не поднимая. И какой-то мне неизвестный старый человек вдруг закричал, забился, чтение было прервано, старику давали воды, потом его увели, вокруг шептались: что вы хотите, столько лет сидел, нервы не выдержали, — Каплер продолжать отказался, сам плакал, за него дочитывал письмо кто-то другой.

Я вышла из здания ЦДЛ. На дворе — март. А погода? Не помню, хотя она близко касалась меня: весь долгий путь до улицы Обуха я прошла пешком. Собиралась сесть в троллейбус на площади Восстания, но тут же о своем намерении забыла. Шла и шла. Вспоминала свою жизнь в Шанхае ахматовскими словами: «Дал Ты мне молодость трудную. Столько печали в пути». И то, как я была счастлива, когда поняла, во что мне надо верить, куда стремиться. Есть на свете страна, где все устроено справедливо, где осуществляются лучшие мечты человечества... «Хорошо, — говорила моя мать. — Допустим. Но почему, объясни мне, арестовали дядю Диму?» (Об аресте в 37-м году любимого брата матери, горного инженера Д. Д. Воейкова мы знали из письма моей тетки Марьи Дмитриевны. Это было изложено, видимо, так: «Диме неожиданно пришлось уехать».) «Ну, значит, было ЗА ЧТО!» — твердо отвечала я. Боже мой. Боже мой. Боже мой! А еще вспоминалось мне московское утро 4 апреля 1953 года: сообщение в «Правде» о том, что врачи отравителями не были! Эти две колонки на второй газетной полосе до сего дня стоят у меня перед глазами. То было утро, когда моя вера в справедливое устройство нашего общества, уже отуманенная сомнениями, уже расшатанная, дала главную трещину...

На другой день была у меня Анна Андреевна. Сама она хрущевского письма не слышала и жадно расспрашивала о нем всех, кто слышал. Я рассказывала, а лицо ее то искажалось гневом, то становилось торжественным, и она медленно произносила: «Дожили! Господи! Дожили!» А еще я говорила о себе. О прекрасноте своем, о наивности, о глупости: годами принимала желаемое за действительное! А быть может, хотела принимать? Так оно легче? В общем, я каялась в тот вечер, а Ахматова мне в ответ: «Да что с вас взять? Вас здесь не стояло!» Терпеливо, снисходительно относилась она ко мне, и с какой благодарностью я это сегодня вспоминаю! Ведь и тогда, когда мне казалось, что я все поняла правильно, и тогда я еще не окончательно выпуталась из плена иллюзий! Вот пройдет еще два с половиной года, разразится нашумевший на весь мир скандал с романом «Доктор Живаго», и я, хотя и возмущалась пестрешими в газетах «читательскими» выступлениями типа: «Романа не читал, но скажу...», — я тем не менее страстно доказывала друзьям, что Пастернак поступил непатриотично, отдав свое произведение итальянскому издательству. Русский писатель должен... Русский писатель не должен... Произнося эти громкие слова, я не понимала, что уподобляюсь именно тем «читателям», которые хоть романа в глаза не видали, но мнение о нем имеют: ведь со всеми обстоятельствами дела я знакома не была. Ничего толком не зная, высказывалась, осуждала.

Мои горячие речи Ахматова слушала молча. Лишь однажды своим медленным голосом промолвила сурово и отчетливо: «ПОЭТ ВСЕГДА ПРАВ».

На первой книге, мне Ахматовой подаренной, стоит ее рукой начертанная дата: «4 февраля 1955 года». Книга тонкая, размер — восьмушка газетной полосы, обложка твердая, коричневая, а в центре черными по золоту буквами: «Цюй Юань. Стихи. Перевод с китайского». В оглавлении среди имен других переводчиков дважды скромно промелькнуло: «Перевод А. Ахматовой». Через год, ранней весной 1956 года, в том же издательстве «Художественная литература» выйдет маленькая, но плотная, синяя с золотом книжка: «Корейская классическая поэзия», где Ахматова — единственный переводчик и где имя ее уже полностью — «Анна Ахматова» — стояло на титульном листе. Эту книгу я получила 7 апреля.

С имени снят запрет. Ей, надолго «лишенной огня и воды», разрешено работать. Вчера она была одним из переводчиков, сегодня — единственным, а завтра, быть может... Это «завтра» наступило лишь через два года, но о его приближении стало известно уже летом пятьдесят шестого. То же самое издательство изъявило желание выпустить книгу, куда войдут не только переводы Ахматовой, но и ее стихи.

После доклада Жданова прошло десять лет. Выросло поколение, понятия не имевшее о том, ЧТО ТАКОЕ Ахматова. И вот решаются вернуть этого поэта читателю... В подготовку будущего сборника включились Мария Сергеевна Петровых и Лидия Корнеевна Чуковская, давние друзья Ахматовой, она высоко ценила их вкус. Маленькую, скромную роль играла и я: машинистка. Тем летом Анна Андреевна мне диктовала, а я, печатая, время от времени говорила: «Как это здорово, что выйдет ваша книга!» В ответ пожимали плечами: «Я — без внимания!» Делала вид, что будущая книга не интересует ее нисколько.

Затем, когда рукопись была сдана, начали приходить вести от издательства. Такое-то стихотворение выброшено, ибо в нем ощущается мистический взгляд на мир. О другом было таинственно сказано: «Есть мнение, что его лучше убрать!» В третьем стихотворении требовали изменить последнюю строку. Анна Андреевна бледнела, каменела. Я, верная своей роли весельчака-оптимиста, восклицала: «А все-таки, а все-таки книга выйдет!» Мне отвечали: «Дистиллированная Ахматова! Я эту книгу заранее прокляла!»

Зимой начали приходить корректуры. В маленькой комнате на Ордынке Анна Андреевна уединялась то с Чуковской, то с Петровых. Оттуда раздавались голоса: считывали. Корректуры ушли. И все замерло. Замерло надолго. Что там делается, в издательстве? А вдруг в последнюю минуту решили Ахматову все-таки не издавать?! Шли месяцы. Не позвонить ли? Не выснить ли? Анна Андреевна, разумеется, звонить отказывалась. И друзьям запрещала: «Мой долгий опыт говорит: пока у них там все не сварится — звонить бесполезно!»

Варилось у них долго, и сварилось лишь к 1958 году. Только тогда и вышла эта книга — маленькая, тонкая. Но на обложке цвета бордо золотыми буквами: «Анна Ахматова». Внутри на титульном листе — «Стихотворения». Из ста двадцати шести страниц книги стихотворения Ахматовой занимают девяносто. Остальное — переводы. С разнообразных языков: китайский, корейский, французский, румынский, бенгальский, еврейский...

Ее тяготила работа переводчика. Говорила: «Это все равно что есть собственный мозг!» А я вспоминала вычитанные в воспоминаниях Замятина недоуменные слова Блока: «Отчего нам платят за то, чтобы мы не делали того, что должны делать?» Как бы то ни было, за эту работу платили. Анна Андреевна уже не бедствовала, могла содержать себя, помогать близким, делать подарки друзьям. Очень любила делать подарки. «И добротой, которую в наследство я от нее как будто получила, — сказано ею о матери, — ненужный дар моей жестокой жизни...»

В самом конце 1958 года мне удалось привести в исполнение давнюю свою мечту: купить автомобиль, который я стала водить сама. Ходить Ахматовой было трудно, поездки в автомобиле давали ей возможность видеть улицы города, видеть природу. Мы с ней много ездили.

Во время одной из наших автомобильных прогулок Анна Андреевна, указав мне на дом неподалеку от Кропоткинских ворот, произнесла: «Вот здесь я скрывалась, переживая, пока пройдет похоронная процессия». Помолчав, добавила с усмешкой: «Выяснилось, что я была в мужской парикмахерской!» После второго ареста Льва

Николаевича Ахматова приехала в Москву хлопотать за сына. На этот раз его обвиняли в том, что он хотел убить Жданова, и Анна Андреевна, получив копию обвинительного заключения, привезла эту копию с собой в Москву. Прямо с вокзала она отправилась к своим старым друзьям. Они не приняли ее. Они побоялись принять ее. Она пошла вниз по Кропоткинской улице, и вдруг откуда-то взялась милиция, прохожих разгоняют, улица пустеет. А ведь могут и остановить, документы потребовать, придется сумочку открыть, а в ней — копия обвинительного заключения! Анна Андреевна толкнула первую же на ее пути попавшуюся дверь, спряталась за ней, стояла там, стояла долго и по звукам рыдающих медных труб поняла: кого-то хоронят. По Кропоткинской, очищенной от прохожих, в сторону Новодевичьего двигалась похоронная процессия. Затем, когда все утихло, когда улица вернулась к нормальной жизни, Ахматова покинула свое убежище и пешком продолжала свой путь в Замоскворечье, на улицу Щипок, к Эмме Григорьевне Герштейн.

Рассказ был подробный, длинный, хватило его до моего дома у метро «Аэропорт», и вот мы приехали, и я помогаю Анне Андреевне выйти из автомобиля, а она произносит: «Вы прозак. За вами не пропадет!»

А ведь пропало. Почти пропало! По легкомыслию своему я не записала этот рассказ тогда же, пока свежа была в памяти ахматовская ни на кого не похожая речь. Не сделала я этого и вынуждена теперь излагать ее повествование своими бледными словами. И утрачены какие-то детали. Ну, например: кого именно хоронили в тот день? Под каким предлогом не пустили Ахматову в свой дом ее друзья? Увидели ее в окно и просто не открыли дверь на звонок? Или... Нет, не помню! Самый факт, что ее не пустили, потряс меня тогда, а подробности размылись в памяти. Фамилию друзей помню. Но не назову. Ахматова говорила о них без тени осуждения. Обиды на них не держала и добрые отношения с ними позже поддерживала. Это мне, в те времена здесь не жившей, тут «не стоявшей», не было понятно, что для свершения некоторых самых обычных поступков иногда требовался героизм, которого, как известно, ни от кого требовать нельзя.

Да, не записала. Да, какие-то подробности забыла. Но вот мой вопрос и ее ответ помню. «В каком это было году?» И она медленно, подчеркивая каждое слово: «В ТОМ САМОМ: В ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОМ».

Ноябрь 1960 года. Сидим вдвоем в маленькой комнате у Ардовых. Я спросила: как относился Гумилев к ее стихам.

— Сначала плохо. Но я и писала плохо, беспомощно, дилетантски, а он этого не прощал. Но потом, вскоре после того, как мы поженились, он уехал на полгода в Абиссинию. В его отсутствие я писала. Все эти стихи: «...Сжала руки...» и перчатку с одной руки на другую... Вернулся. «Писала что-нибудь?» Я ответила одним словом: «Писала». А меня уже расхвалили, и была уже башня Вячеслава Иванова. «Прочти». Я прочтала. Он сказал: «Нужно книжку делать. Ты — поэт». С тех пор он очень внимательно относился к тому, что я пишу. Иначе он не позвал бы меня с собой в акмеизм. Надо было знать этого человека! Для него никакой роли семейные отношения в таких вопросах не играли.

— А почему он уехал через полгода после женитьбы?

— Страсть была к путешествиям. И я обещала, что никогда не помешаю ему ехать, куда он захочет. Еще до того, как мы поженились, обещала. Заговорили об одном нашем друге, которого жена не пускала на охоту. Николай Степанович спросил: «А ты бы меня пускала?» «Куда хочешь, когда хочешь!» И вот я была у матери, а он прислал за мной. Передал, что едет, хочет проститься. Я приехала. Он укладывался. Были седла куплены.

Весной 1961 года издательство «Художественная литература» выпустило плотную, малого формата, изящную книжку: «Анна Ахматова. Стихотворения». Тут переводов уже не было. Были только стихи. И началось! Письма читателей. Звонки из редакций. Вновь пришла к Ахматовой слава, о которой она когда-то отзывалась так презрительно: «А наутро притащится слава погребушкой над ухом трещать». И так равнодушно-надменно: «Оставь другим игрушку мира славу, иди домой и ничего не жди». А теперь эти игрушки и погремушки стали тешить Ахматову. Молчание и отшельничество утомили ее.

Года точно не помню — начало шестидесятых. Вечером я у Ахматовой на Ордынке. Из семьи Ардовых дома была только Нина Антоновна. Пришел Толя Найман. Мы ужинали вчетвером,

выпивали — Анна Андреевна не чуждалась рюмки водки. Кто-то вдруг вспомнил Аманду. Эту молодую англичанку я никогда не видела, лишь слышала о ней. Проходит стажировку в Москве, совершенствуя русский язык, пишет диссертацию об Ахматовой. Стрелка часов приближалась к одиннадцати, но Анна Андреевна пожелала немедленно видеть Аманду. Ее вызвали: звонил Толя. Не прошло и получаса, как эта молодая, приятной наружности женщина была с нами. Ей, несомненно, была дорога каждая минута, проведенная в обществе Ахматовой. Это не говоря о том, что полноточный визит в квартиру, где в комнатке против кухни живет крупнейший из ныне здравствующих русских поэтов, и беспорядочные остоатки ужина на столе, и величественная старая дама на диване (крупнейший поэт), и две слегка подвыпившие женщины (хозяйка дома и, видимо, ее приятельница), и молодой человек (он как бы в роли пажа), и то, что Аманде, по рассеянности, плеснули водки в рюмку, из которой кто-то уже пил, — это необычно, это экзотично, это волнует. Ну где, скажите, в каком уголке мира можно встретить такое? Аманде покорно отхлебнула из чужой рюмки и жадно, радостно вбирала в себя происходящее.

Нина Антоновна (в то время режиссер Центрального театра Советской Армии) своим актерским, поставленным голосом декламировала ахматовские стихи: «Как забуду? Он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот...» «Аманда! Вы чувствуете?» «О, да, спасибо, о, да!» «Звенела музыка в саду таким невыразимым горем». «Аманда! До вас доходит?» «О, без сомнения!»

Ахматова в своем темно-лиловом, очень ей идущем восточном халате сидела выпрямившись, голова откинута, осанка королевская, взгляд благосклонный. Восторг и признательность были написаны на лице англичанки. «А! Это снова ты. Не отроком влюбленным...» — декламировала Нина Антоновна. На душе у меня было скверно. Что-то раздражало, что? Да вот, пожалуй, это повышенное внимание к чужеземке. Можно подумать, что нам всем очень лестно, что англичанка взялась писать о большом русском поэте и мы рвемся ей помочь. И еще неизвестно, ЧТО она там пишет и в состоянии ли понять, КТО ТАКАЯ Ахматова? Давно мы уже раздариваем, разбазариваем, в чужие руки отдаем наше богатство, нашу славу...

Так я думала, ибо многого тогда не понимала! Привыкнув к обществу Ахматовой, я стала забывать, что она — фигура легендарная. Ее дар, ее судьба издавна привлекали внимание. «И всюду клевета сопутствовала мне...» «Так много камней брошено в меня...» А ведь это еще из ранних стихов! Еще в Шанхае я читала мемуарную книгу жившего в Париже русского поэта Георгия Иванова «Петербургские зимы» — там были страницы об Ахматовой. Однажды я сказала ей об этом, а в ответ услышала: «Сплошное вранье! Ни одному слову верить нельзя!» Столь же негодующе относилась Анна Андреевна к писаниям жены Иванова — Ирины Одоевцевой. А в этих произведениях речь шла еще о молодой, о петербургской Ахматовой. После сорок шестого года ее имя исчезло со страниц нашей печати, но затем, когда запрет с имени был снят, стали появляться статьи о ее творческом пути. О творческом, но не о жизненном. Ни она сама в краткой автобиографии «Коротко о себе» (1965), ни пишущие о ней не могли коснуться трагических событий ее жизни. Зато их касалась западная печать. Там писали, а у нас умалчивали и скрывали. Это приводило к тому, что авторы статей об Ахматовой, не располагая точной информацией, нередко искажали факты. Мне приходилось видеть, как сердилась Анна Андреевна, когда до нее доходили некоторые статьи о ней в западной прессе.

Ко многому была равнодушна Ахматова («без внимания»), но к суду потомков безразлична она не была, и мысль о том, что на этот суд она явится с биографией, искаженной вымыслом и ложью, терзала ее. А возразить, а оспорить, а уличить невозможно. Ведь официально того, что пишут ТАМ, не существует, этого как бы и нет — беспомощность полная!

И вот является Аманды, посланная своей руководительницей из Кембриджского университета с заданием написать об Ахматовой. Я не понимала тогда, что, помогая этой молодой англичанке, Ахматова надеялась увидеть наконец в печати правду о себе. Пусть хотя бы в западной печати — ведь на свою в те годы надежды не было.

Антракт. Толя отправился на кухню кипятить воду для чая. Нина Антоновна закурила. Аманды, как умела, выражала свои чувства. Анна Андреевна любезно кивала. А перед моими глазами было темное окно, а за ним, говоря строчкой ее стихов:

«Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь».

«ГОТОВЫ ЩЕДРО ДЕЛИТЬСЯ...»



Феликс МЕДВЕДЕВ
Фото Геннадия КОПОСОВА

Конечно же, я уверен, и это можно подтвердить цифрами, что кпд ярмарки высок: нам есть что продать за границу, и у заграницы есть многое из того, что нам интересно и выгодно приобрести. Только вот почему-то всякий раз после очередного книжного гала-представления остается открытым вопрос: когда насытится необходимостью продукцией наш книжный рынок? Когда читатель будет доволен? Неужели советская книжная торговля перевалит через черту XX века с неумирающим, набившим оскомину, пресловутым понятием о дефиците и черном рынке? Неужели и перестройка с ее интенсивным экономическим стимулом не выправит почти трагической ситуации?

Когда смотришь на суперроскошные издания западных фирм, сотворенные по последнему слову полиграфической промышленности, книгоиздательской науки, невольно завидуешь и думаешь о том, как же нам надо торопиться учиться делать дело, чтобы одарить необходимой книгой советского покупателя, читателя, заинтересованного в книге, влюбленного в нее.

Помню, лет шесть — восемь назад, готовясь освещать работу очередной выставки-ярмарки, я попросил двух руководителей ответить на один вопрос: когда решится проблема книжного дефицита? Тогдашний заместитель председателя Госкомиздата И. И. Чхиквишвили бодро и уверенно парировал: «Годика через три-четыре», — а Н. М. Сикорский в бытность тогда директором Государственной библиотеки имени Ленина задумался, посмотрел куда-то вдаль и, улаждая мой слух горьким прогнозом, произнес: «Думается, что мы не решим эту проблему до конца нашего века».

Так неужели это правда?! И нам не надо обманывать себя, читателей, весь просвещенный мир оптимистическими (можно сказать, мистическими) цифрами наших успехов на ниве книгоиздательства. В эти дни одна центральная газета снова напечатала радужные цифры под заголовком: «Книжное дело в СССР — это 219 издательств;

ВОТ УЖЕ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ КАЖДЫЕ ДВА ГОДА
В ЭТИ ПЕРВОСЕНТЯБРЬСКИЕ ДНИ Я ПРИХОЖУ НА ВДНХ,
ЧТОБЫ ПОБЫВАТЬ НА
ГИГАНТСКОМ ВЕРНИСАЖЕ ПОД НАЗВАНИЕМ
МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА.
ДЛЯ ЧЕГО ОН, ЭТОТ БОГАТЕЙШИЙ КНИГОТОРГОВЫЙ ФОРУМ?
КАКОВЫ ЕГО ЦЕЛИ!

80 000 названий книг... Ну что толку с этих цифр? А как ответить: много это или мало — 219 издательств или 40 миллиардов книг в личных собраниях наших читателей? С чем эти данные можно сравнить? С чем «едят» эти цифры?

Вот, например, я понимаю реальное значение такого факта: начальник по продаже в Союзе продукции финских бумажных фабрик ФИННПАП Лейла Комулайнен, с которой я беседовал в дни работы ММКВЯ-87, сказала:

— Мы удовлетворяем страну десятью процентами производимой нами бумаги, остальные девяносто идут на экспорт.

Вот эта цифра ясна любому неискушенному как дважды два четыре.

Что касается сорока миллиардов, то сколько копий поломано в нашей печати о том, что миллиарды-то эти во многом липовые, ибо никто не знает, как читаются они, как работают книги. Ведь не секрет, что немалая их часть приобретена владельцами как раз в последние два десятилетия, в годы зарождения и процветания термина «книжный бум». Немало книг из этих миллиардов подбиралось под цвет обоев и мебельных стенок, отоваривалось суммами из кошельков представителей тех профессий, которые мы галантно называем службой сервиса. Читать же книги им было некогда, ведь и они спешили творить тот самый застой, за который мы нынче расплачиваемся.

Год назад «Огонек» опубликовал материалы организованного редакцией совместно с «Альманахом библиофила» «круглого стола»: «Книга: читать или иметь?». Публикация вызвала обильную почту. Пользуясь случаем, благодарим всех тех читателей, которые прислали свои отклики предложения. Так вот сейчас как раз приспел тот самый повод, чтобы познакомиться с некоторыми выдержками из читательских писем. ММКВЯ-87 — это торжество, праздник, карнавал, ярмарка, фейерверк, как еще ее называют, но пусть она станет делом

вым поводом для делового разговора о судьбе книгоиздательского дела в стране.

«Проблемы, поднятые журналом, представляются чрезвычайно важными, неотложными, далеко выходящими за рамки пресловутого книжного дефицита», — пишет И. Фатиев, инженер-экономист из Вологды. — Мои конкретные предложения продиктованы единственной мыслью: надо что-то делать! Ведь позади — огромное, неосвоенное литературное наследие предков. Впереди — зловещие силуэты духовной безграмотности, как сказал В. Петросян на VIII съезде писателей СССР. Посредине — безбрежный океан книжной макулатуры с редкими островками истинно художественных произведений. И эти великие острова опутаны почти сплошь и неприступно «колючей проволокой» частных книговладений.

...Об истинных размерах книжного голода можно судить по небывалому успеху безлимитной подписки на трехтомник Пушкина. Но разве цифра 11 миллионов 700 тысяч подписчиков — только лишь повод для бурного ликования?! Не может быть, чтобы не печалился Госкомиздат СССР вполне резонным вопросом: неужели так велико количество читателей, не имеющих до сих пор в личной библиотеке хоть какого-нибудь издания великого поэта? Ведь Пушкин издавался многократно и немалыми тиражами. Какие же тиражи вызовет безлимитное издание Л. Толстого, Достоевского? Пикюля, наконец?..

...Я уверен, что будущее за личной (семейной) библиотекой, а мы продолжим нагромождать горы книг в общественных читальнях, ожидая, когда рухнут их межэтажные перекрытия. О таких случаях мы узнаем все чаще и чаще. Строить новые библиотеки, сооружать новые километры книжных полок, зная, что больше половины книг вообще не снимается с полки, — как же это? Я предлагаю выход: передать часть фондов художественной литературы читателям. Разумеется, не бесплатно. Надо только решить, фонды каких библиотек и каким читателям передать: детям, учителям, пенсионерам, жителям отдаленных районов...

Предложение И. Фатиева, конечно, неожиданно, почти фантастично. Как, впрочем, и другое: путем открытого обсуждения (по методу лотереи «Спортлото») реального спроса определить «золотой фонд» отечественной художественной литературы, от «Слова о полку Игореве» до Айтматова и Распутина, ограничив этот фонд, допустим, ста томами; создать «Общественное художественное издательство», подчиненное Советскому фонду культуры, и на основании открытой

подписки насытить читателей теми книгами, которые они запросят...

Что же, в этом невозможном можно возможное рассмотреть! Ведь делать что-то надо. И как можно скорее.

«Совершенно очевидно, что в книгоиздании произошло как бы короткое замыкание», — пишет В. Султанов из Новосибирска, — оно стало работать только на себя, отделилось от общества и ведет независимое существование, вроде гоголевского Носа. Самое невероятное в этом противоестественном существовании — его длительность, а ведь даже Нос разгуливал по Петербургу сравнительно недолго...»

...А ММКВЯ-87 бурлит, работает, творит. Людские волны бьются о металлические паравелы, ограждающие входы в павильоны ярмарки. На этот раз не так, как в прошлые годы: нет оголтелых километровых очередей. Даже по этому внешнему признаку можно судить о спаде книжного бума. И уж не знаю, как судить, хорошо ли, плохо ли, что даже в дождливую погоду стоят под зонтиками у книжных лотков люди: они стоят за книгой.

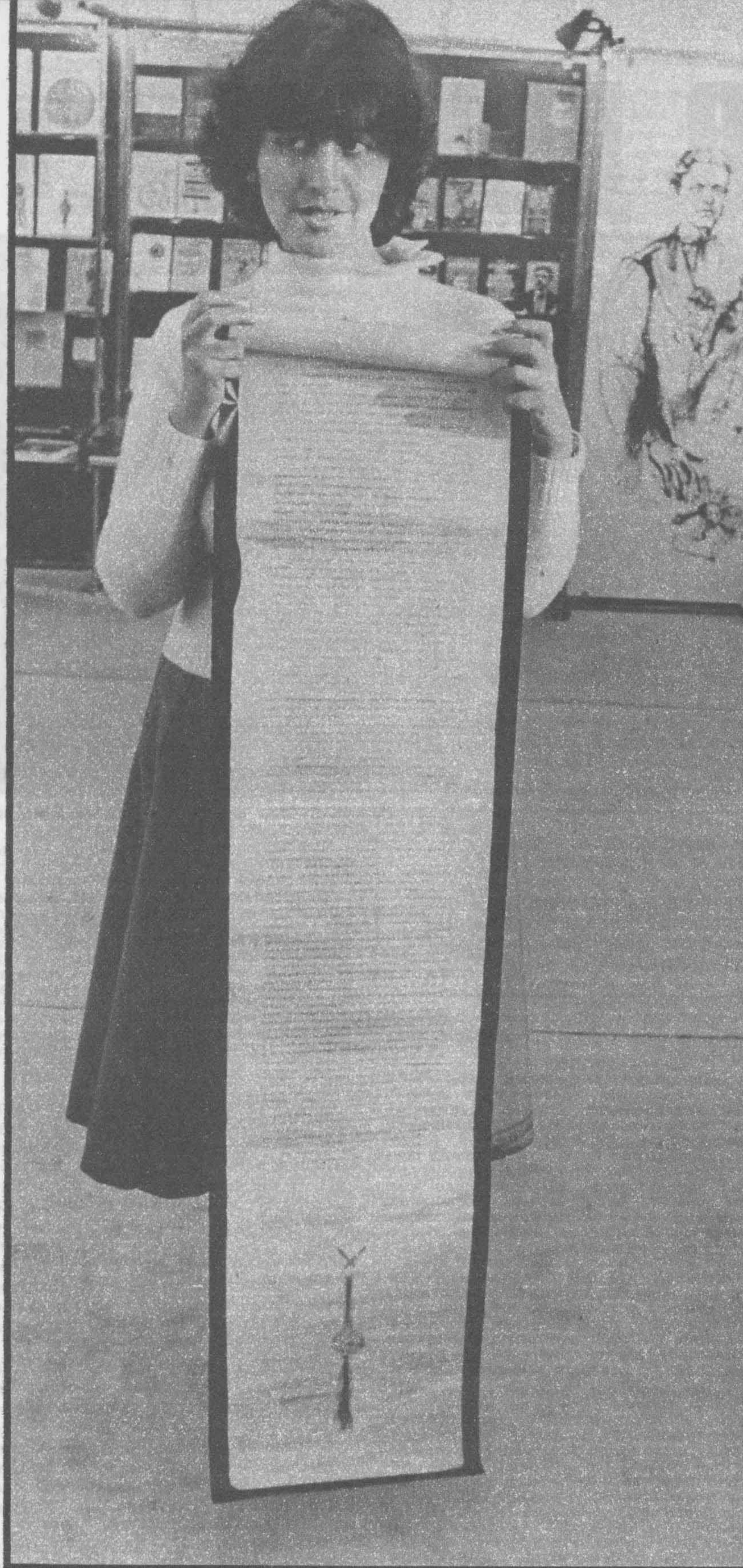
Вообще изменения в организации ММКВЯ заметны. Пусть небольшие, пусть в мелочах, но мелочи эти — признаки перестройки. Впервые за все годы не заставляли сдавать в камеры хранения сумки и портфели, впервые не требовали при выходе из павильонов униженно показывать их содержимое.

Богаче стали экспозиции советских издательств, некоторые из них, в частности «Советский писатель», представили даже макеты будущих изданий — пусть читатель видит обложки книг, приходящих к нему в ближайшие год-два. Кажется, нет краше стендов великолепной продукции издательства «Книга», я бы сказал, самого высокопрофессионального издательства у нас в стране. Многое здесь на уровне мировых образцов.

Подтянулись и «Наука», «Мир», Профиздат. Внешний вид продукции изыскан, привлекателен.

Богато представлены многие зарубежные фирмы. Богаче, чем в прошлые приезды в Москву.

Впервые на ММКВЯ функционирует коммерческий центр. Великолепная рекламная продукция, каталоги, буклеты, проспекты; широко представлена наша периодика, журналы, привлекающие внимание читателей во многих странах мира. При мне происходила коммерческая сделка между генеральным директором фирмы «Смердифизьон» Случаем Юсефом и белорусскими издателями. Мароккан-



● Сильвия Колева (Болгария) показывает издание Рильской грамоты 1376 года.

● Здесь размещена экспозиция КНР.

● У стендов издательства «Советский писатель».

● Американский издатель Роберт Абрамс.

● На международном конкурсе детского рисунка «Герой моей любимой книги» первые премии получили Катя Самойленко (СССР) и Такэяма Рэна (Япония).



цу пришлось по душе красочно оформленный художником И. Демковским сборник сказок, стихов, детской прозы «Калейдоскоп» на французском языке. Для пробы он закупил 50 экземпляров этой книги.

По-прежнему, как и в дни работы прошлых выставок, большой интерес вызывают павильоны американских, английских, французских фирм. Причем нам есть чему у них поучиться в деле организации пропаганды книжной продукции. С первой же минуты работы ярмарки посетитель мог получить объемистые каталоги представленных на стендах книг. Они привезены из-за океана, за тысячи километров и доставлены вовремя. Каталоги советского павильона поступили далеко не в первый день работы ММКВЯ и распространялись как-то стихийно, в небольшом количестве экземпляров.

В отличие от выставок прошлых лет сегодня здесь чувствовалась большая раскованность в настроении и посе-

тителей, и участников выставки. Больше улыбок, распахнутости, оживленных бесед. Вопросы обсуждаются самые разные: от книготорговых, коммерческих переходят к социальным, политическим, личным. Книга сближает — это главное.

Интересными, вездливыми были и вопросы журналистов на пресс-конференциях. Помню, как четыре года назад на брифинге, посвященном теме «Писатели в борьбе за мир», я задал вопрос о том, что редко у нас издаются, как мне казалось тогда, книги Ильи Эренбурга, выдающегося борца за мир, крупного писателя, много сделавшего для дела мира. Реакция организаторов пресс-конференции была какой-то болезненной. Сегодня этот вопрос оказался бы детским перед теми, какие звучали на встречах журналистов с представителями книготорговых организаций.

Кстати, один из журналистов спросил председателя Госкомиздата

СССР о реакции на заявление Гарсиа Маркеса по поводу оплаты за книги, изданные в СССР, сделанное им в интервью «Огоньку». Мне показалось, что журналист не получил ясного ответа на свой вопрос. Я попытался продолжить выяснение отношения с соответствующими организациями. Вааповцы, занятые, конечно же, важными и срочными делами по заключению контрактов, также не смогли толком ответить на вопросы, заданные колумбийским писателем. Такая же реакция была и у сотрудников Госкомиздата, к которым я обращался.

И еще о книжном аукционе. Один вопрос его организаторам: зачем надо было использовать невежество или неосведомленность тех покупателей, которые приобрели книги, вышедшие не так давно, по ценам, не снившимся, наверное, за все даты чер-ного рынка? К примеру, книга Андреева «Очень хочется жить» при номинале 1.50 продана за 20 рублей,

роман Тушкана «Джура» при госцене 2.20 куплен за 15 рублей.

...Много встреч было на ММКВЯ-87. Вот одна — с мамой Владимира Высоцкого Ниной Максимовной.

— Сразу пять издательств выпускают в ближайшее время книги Володи. Вот какое пришло время. Я верила, что такое время придет.

У Виктора Петровича Астафьева свои раздумья:

— Очередная, шестая книжная ярмарка в Москве проходит в особых условиях — условиях развернувшегося по всей стране необратимого процесса перестройки всех сфер жизни, в частности и литературной. Однако здесь необходимо заметить, что наши лучшие писатели: Федор Абрамов, Василий Шукшин, Валентин Распутин, Василь Быков, Борис Можаев, Михаил Алексеев, наконец-то признанный Владимир Высоцкий и многие другие — еще задолго до нынешних перемен своими честными, правдивыми произведениями всемерно



подготавливали перестройку. Хочется верить, что и я своими книгами «Царь-рыба» и «Последний поклон» внес посильный вклад.

Яна Маркова, генеральный директор Агентства по авторским правам НРБ, считает, что среди многочисленных издателей, собравшихся в советскую столицу со всех концов света, найдутся и такие, которых привело сюда любопытство к так называемым сенсационным книгам, появившимся у нас в последнее время. Но это не плохо. Зарубежный читатель получит достоверную информацию о том периоде истории, о котором знает лишь понаслышке, да и то далеко не всю правду, а порой и вовсе неправду...

Достоверная информация. Честная гласность во всем, что касается прошлого и настоящего, дружбы и ненависти... Как она важна сегодня! Я видел, как пожилой человек с орденем на груди трепетно держал в руках макет книги Ю. Щербака «Чернобыль», готовящейся к изданию в

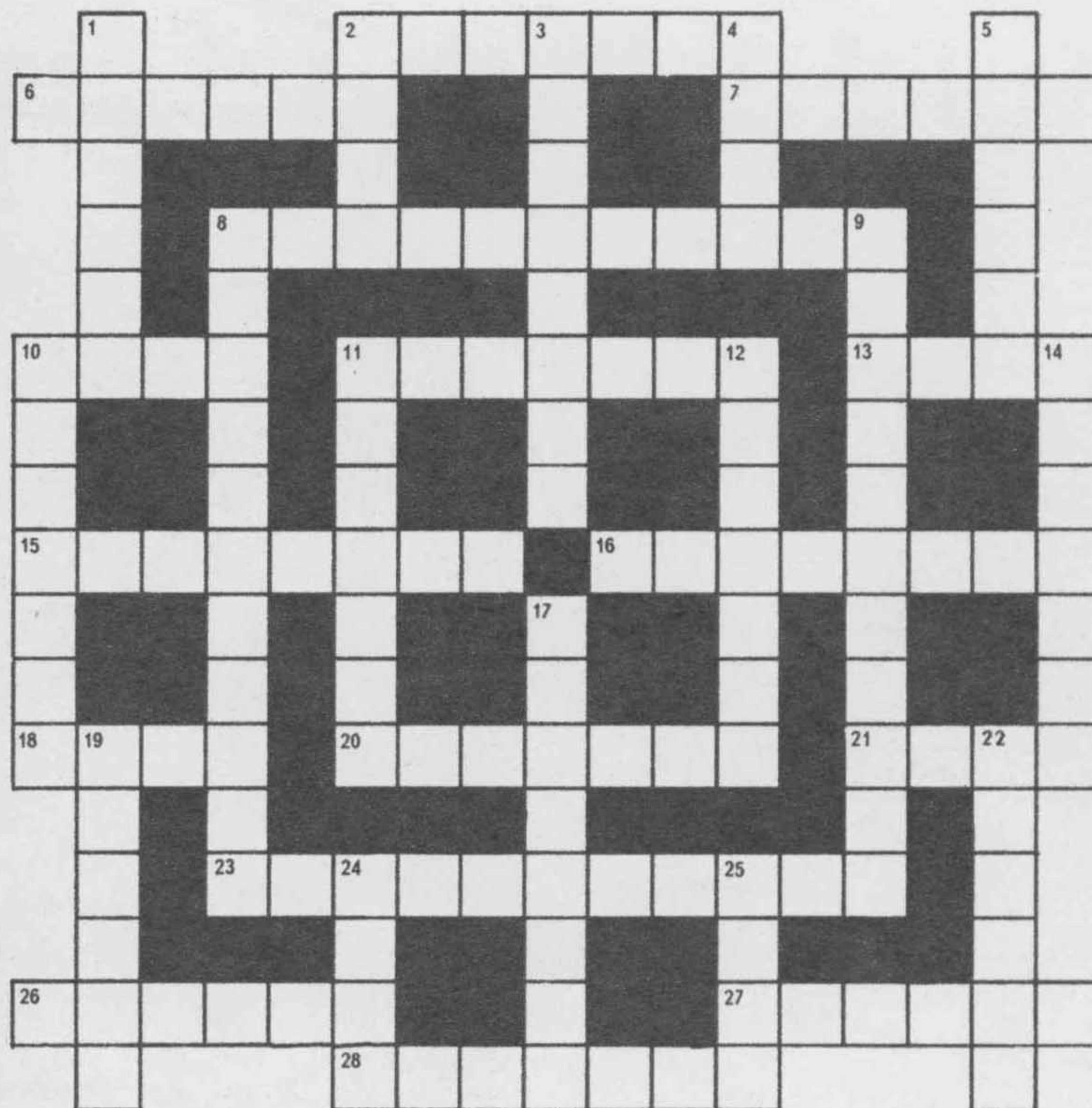
«Советском писателе». Я слышал, как здесь же кто-то из западногерманских издателей воскликнул: «Как, вы издаете всего Замятина? Не верю».

Этот возглас неверия, сомнения в чем-то как бы дискредитирует перестройку, революцию в умах и делах. Вся правда жизни, выраженная в творчестве писателей, ученых, философов, должна прорасти зерном. А потом урожаем. Зеленым, живым, вечным.

...Советская книга за рубежом, зарубежная книга в Советском Союзе. Это значит — ближе узнать друг друга, прислушаться друг к другу, сказать правду друг о друге, понять друг друга и, быть может, в чем-то простить.

«Мы... готовы щедро делиться всем лучшим, что создано нами», — сказал М. С. Горбачев, приветствуя участников и гостей ММКВЯ-87, что создано. Что создается. Что будет создано как результат эпохи гласности, правды, демократии.

КРОССВОРД



По горизонтали: 2. Дорога в лесу. 6. Остановка в пути для отдыха. 7. Швейцарский живописец, автор картины «Шоколадница». 8. Хозяйственная единица, занимающаяся охраной и разведением деревьев. 10. Твердое топливо. 11. Планка между стеной и полом. 13. Остров, принадлежащий Индонезии. 15. Народная артистка СССР, выступавшая в Малом театре. 16. Устройство для записи речи. 18. Басня И. А. Крылова. 20. Аппарат для печатания копий с рукописей, чертежей. 21. Полярная морская утка. 23. Повторение однородных согласных для звуковой выразительности стиха. 26. Овощное растение. 27. Русский живописец, передвижник. 28. Город в Калужской области.

По вертикали: 1. Областной центр в Белоруссии. 2. Участок реки между двумя изгибами. 3. Народный артист СССР, актер и режиссер театра «Ромэн». 4. Низкий женский и детский голос. 5. Государство на архипелаге в Средиземном море. 8. Хвойное дерево. 9. Раздел зоологии, изучающий птиц. 10. Лагерь для автотуристов. 11. Порода охотничьих собак. 12. Американский писатель, автор романа «Джунгли». 14. Нидерландский философ-материалист XVII века. 17. Архитектор, создавший здание Смольного института в Петербурге. 19. Река в Центральной Африке. 22. Английский астроном и геофизик XVII—XVIII веков. 24. Грамматическая категория. 25. Химический элемент, металл.

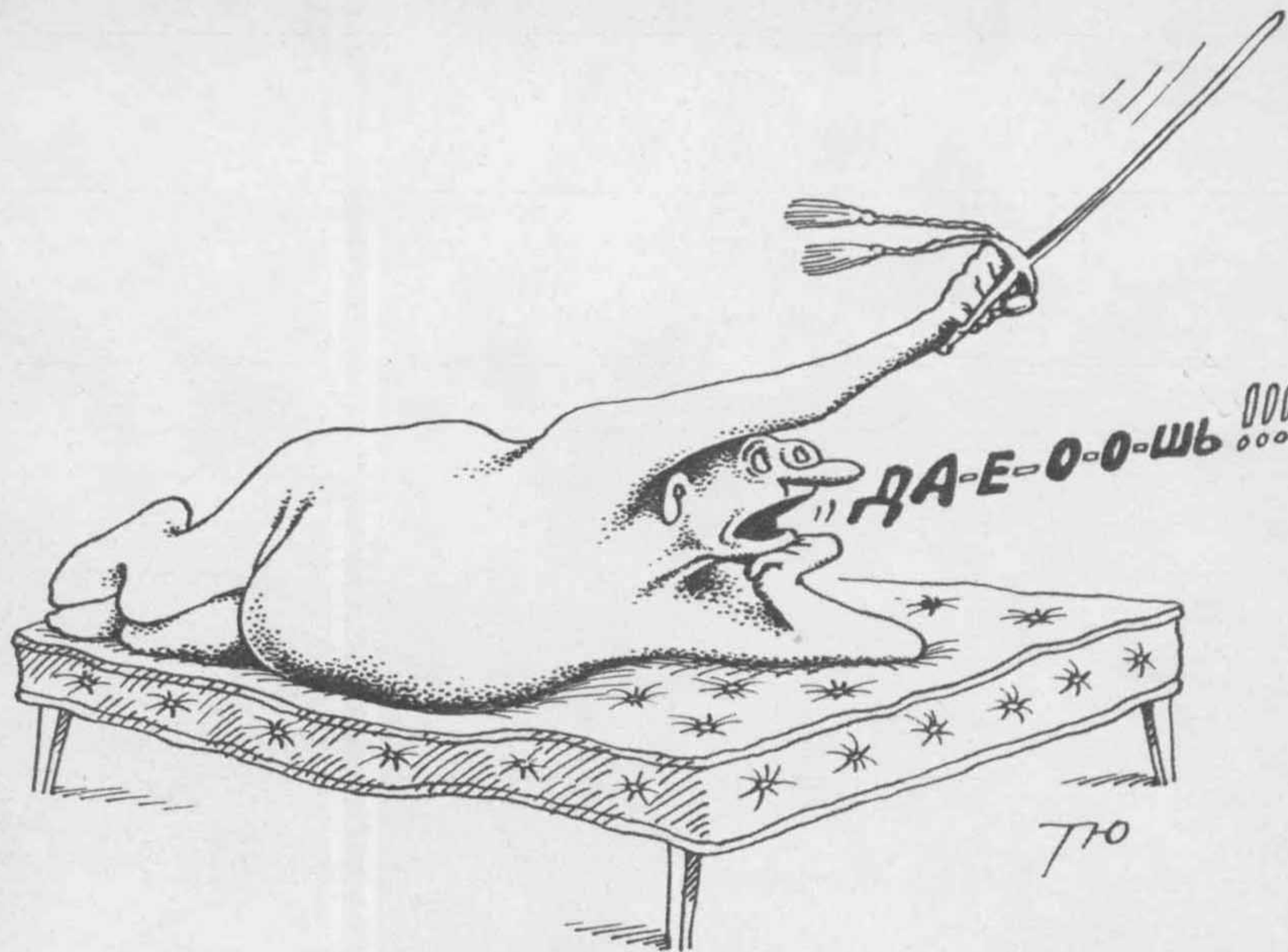
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 37

По горизонтали: 2. Чайкина. 6. Марабу. 7. «Разлом». 8. «Пробуждение». 10. Зоолог. 12. Рапира. 13. Рондо. 14. «Энергия». 15. Гротеск. 16. Журна. 17. Германн. 19. Топливо. 21. Окапи. 23. Овидий. 25. «Нэргиз». 27. Трансмиссия. 28. Сверло. 29. Азурит. 30. Вокализ.

По вертикали: 1. Гарнизон. 2. Чудово. 3. Княжнин. 4. Аренга. 5. Косеканс. 8. Программист. 9. Египтология. 11. Грязной. 12. Рогатин. 18. Ерофеева. 20. Возничий. 22. Адамова. 24. Исаков. 26. Экстаз.

НЕТ ПРОБЛЕМ?

Рисунок Сергея ТЮНИНА



МЕЛОДИИ СОЦВЕТИЙ

ОГОНЁК

Как звенят
на лужайках колокольчики,
слышали, пожалуй, все.
А если в тихом лесу
прислушаться повнимательнее,
то зазвучат голоса
и других цветов.
Знатоки-то, во всяком случае,
их различают.
И создают подлинные
ансамбли растений.
Вот такой концерт цветов
организовали недавно
преподаватели школы
«Русский букет» столичного
национального парка
«Лосиный Остров».

Фото Дмитрия ДЕБАБОВА.

